

НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

ТАНТАЛЭНА

ПОВЕСТЬ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА



«КРАДУГА»
1925

Ленинградский Гублит № 21205.

Тираж 6,000 экз. — 11 п. л.

ГОС. УЧЕБНО-ПРАКТ. ШК.-ТНП. ИМ. ТОВ. АЛЕКСЕЕВА. ЛЕНИНГРАД. КРАСНАЯ, 1.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мои мечты.

Меня зовут Ипполитом. В моей трудновязке сказано, что я родился в 1906 году за границей. В какой стране, в каком городе я родился — не знаю. Кажется, где-то на юге. Я иногда вспоминаю какие-то белые домики вокруг синего-синего озера, странные, нездешние деревья, желтые скалы и жаркое изнуряющее солнце. Но, может быть, я вовсе никогда не был в этой стране, а просто видел что-нибудь похожее в кинематографе, забыл, и потом решил, что это моя родина.

Настоящие мои воспоминания начинаются значительно позже. Я помню, что целый период моего детства прошел в поезде, в вагоне. Мы с отцом переезжали с места на место, из одной страны в другую, из города в город. Мы нигде не останавливались больше, чем на несколько дней. Прие-

хав в какой-нибудь городишко, отец брал номер в гостинице и преображался.

Теперь я отлично понимаю, что это чепуха, что отец не мог преображаться, но мне кажется, что я помню, как рыжая борода отца становилась черной, потом исчезала совсем, чтобы в следующем городе стать седой.

Я помню отца бритым, волосатым, лысым, длиннобородым, с усами, закрученными кверху, с усами, закрученными книзу, рыжим, черным, седым, белокурым, в черных очках, в синих очках, в простых очках и совсем без очков. Так же в то время менялись и его костюмы. Я помню его в военных формах всех наций, всех чинов и всех родов оружия. Помню его католическим монахом и русским священником, помню его в сюртуке и цилиндре—тогда мы ездили в отдельном купе первого класса—и в армяке—тогда мы ездили в максиме. Мне было тогда не больше шести—семи лет, и я не находил этого странным. Жизнь в вагоне, в несущемся поезде казалась мне обычной, нормальной жизнью. Только теперь мое детство стало для меня тайной, загадкой, которая мучит меня и которую я решил во что бы то ни стало разгадать.

Другая такая же загадка—это мой отец. Отчего он всегда молчит? Кто он такой? Чем он занимается? Отчего у нас никогда не бывает ни его друзей, ни знакомых? Да и есть ли у него друзья? Куда он уезжает, когда говорит мне:

—Ипполит, я оставил у тебя на столе 10 р. Сзавтрашнего дня ты будешь обедать в трактире один. Я уезжаю и вернусь на будущей неделе в пятницу.

В те дни, когда он никуда не уезжал, он все время сидел дома. Завтрак, обед и ужин нам

приносил половой из соседнего трактира, и мы молча ели с отцом у себя на кухне. Этот половой был единственный посторонний человек, который имел право переступить порог нашей квартиры. После еды отец запирался у себя в кабинете и выходил оттуда только к следующей еде.

Кабинет был третьей загадкой. Я никогда не бывал у отца в кабинете. Выходя, отец запирает его на ключ и уносит ключ с собой. Когда мне нужно было поговорить с отцом, я стучал в дверь, и он никогда не просил меня войти, а выходил сам. Что он делал там, в этом кабинете? Ведь нередко проходили месяцы, во время которых он выходил из кабинета только на кухню, поесть.

Я удивлялся, как отец может обходиться без свежего воздуха. Неужели его не тянет пройтись по набережной, зайти в порт, подышать свежим морским ветром?

Я даже беспокоился за его здоровье. Но это мое беспокойство было совсем неосновательно. Я не помню, чтобы отец мой когда-нибудь болел, у него даже насморка никогда не бывало. Это—высокий, широкоплечий, черноволосый человек, обладающий удивительной физической силой. Любой гвоздь он может вырвать руками из стены. Он не раз при мне разгибал подковы и свертывал в трубочку серебряные полтинники.

Я с детства преклонялся перед отцом. Все силы моей души я тратил на то, чтобы привлечь к себе его внимание. Но мне никогда этого не удавалось. Он заботился только об одном—чтобы я был сыт. Не требовал он от меня ничего и нисколько мной не интересовался. Казалось, он не замечал меня.

Я иногда пробовал заговаривать с ним, но это ни к чему не приводило. Если мне и удавалось выудить из него несколько фраз, то он неизменно через минуту прерывал себя, говоря:— „а впрочем, ты ничего не понимаешь“— и замолкал.

Потом, отчаявшись, я пытался привлечь его внимание тем, что делал ему неприятности. Например, однажды зимой, в лютый мороз, выбил в кухне стекло. Но отец не спросил, зачем я это сделал, безмолвно посмотрел на выбитое стекло, дал мне денег и велел привести стекольщика. Другой раз я заказал в трактире рыбный обед (отец не выносил рыбы, чем подчас меня раздражал, ибо рыба— мое любимое кушанье). Но он не притронулся к обеду, встал и, не евши, ушел в кабинет, сказав:

— Я рыбы не ем. А впрочем, ты ничего не понимаешь...

Я рос, предоставленный себе самому. С детства я пристрастился к чтению английских книг. Кто меня выучил английскому языку— не знаю. Мне кажется, я выучился ему в самом раннем детстве, в одно время с русским. У отца была большая библиотека, находившаяся в просторной холодной комнате, рядом с его кабинетом. Откуда отец достал ее, зачем— я не знал. Во всяком случае, он никогда ею не пользовался. Десятилетним мальчиком я самовольно завладел ею и с тех пор был ее полновластным хозяином.

Меня сразу же заинтересовали книги о путешествиях и приключениях. Робинзон Крузо, романы Майн-Рида, Купера, капитана Мариэтта, Конан-Дойля, Брэт-Гарта, Хаггарта и Стивенсона перечитывались мною по много раз. Особенно я любил Стивенсонов „Остров сокровищ“. Это роман о моря-

ках и морских разбойниках, а о море я мечтал больше всего.

Когда я стал постарше, эти романы перестали меня удовлетворять. Меня заинтересовали настоящие путешественники. Окруженный картами, я целые дни просиживал в библиотеке, путешествуя по Азии, вместе с Васко-де-Гама, или по Африке, с Ливингстоном и Стэнли. Но и тут я отдавал предпочтение морским путешествиям. Колумб, Лаперуз, Магеллан и Кук — вот мои любимые герои.

Когда отец уезжал, я ходил обедать в трактир. У нас, на Васильевском острове возле порта, трактиры совсем особенные. В них завсегда и — не дворники, не извозчики, а моряки и портовые рабочие. Васильеостровские



Ипполит Павелецкий.

трактиры напоминают английские морские таверны, описанные во всех разбойничьих романах. Правда, вместо эля в них пьют жидкое пиво, а вместо рома — чай, но кто может поручиться, что если вы таинственно подмигнете половому, он не принесет вам в пивной бутылке контрабандного эстонского спирта? Я никогда не слыхал, чтобы люди пьянели от чая, однако, у нас в трактире я нередко бывал единственным трезвым человеком.

Каких удивительных людей я встречал там! Не чинных моряков военного флота, слишком солидных и чисто плотных для таких мест, а матросов с мелких торговых судов, русских, финских, эстон-

ских, немецких, шведских, английских и настоящих контрабандистов. Изредка сюда заходят студенты Академии Художеств, славные ребята, которых моряки очень любят. Они слушают рассказы о необычных морских приключениях и рисуют бородатых контрабандистов. Много здесь людей и без определенных занятий, просто завсегдатаев порта, не то контрабандистов-неудачников, не то матросов, выгнанных за пьянство, не то безработных грузчиков. Подобных людей я любил больше всего. Кажется, пьяница, тля, попрошайка — а начнет рассказывать, заслушаешься. Расскажет и о дебрях Мадагаскара, и о кругосветном путешествии, и о курильщиках опиума в Китае, и о Гельголандской битве, и о Мальстреме, о сотнях необитаемых островов, о тысячах кораблекрушений. Правда, наполовину он врет, наполовину говорит с чужих слов, но зато как интересно!

Как я любил эти рассказы! Как мечтал я о морском путешествии! О, только бы хоть один раз в жизни потерпеть кораблекрушение и понасть на необитаемый остров, хоть на самый захудалый! Я был бы счастлив на всю жизнь. Сколько раз я бродил по набережной Невы, рассматривая суда, и в полголоса напевал старую пиратскую песню:

Пятнадцать человек на ящике мертвеца.
Ио-хо-хо! и бутылка рому.

Если бы мой отец доверял мне! Если бы он знал, как безгранично я ему предан! Он посвятил бы меня во все свои таинственные похождения. Я был бы его защитой и опорой. У него не было бы друга надежнее меня. Сколько бы у нас было страшных и веселых приключений!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Письмо.—Таинственный посетитель.

Наконец случилось событие, которому суждено было изменить нашу однообразную одинокую жизнь. Во время одного из очередных отъездов моего отца, в кухне раздался звонок. Я открыл дверь и увидел перед собой почтальона. Если бы это был тигр или американский бизон, я был бы не так удивлен. Почтальон еще никогда не заходил к нам. Это было первое письмо, принесенное к нам на квартиру. Почтальон сунул мне его в руку и вышел. Я сейчас же побежал к окну и осмотрел конверт. На нем было написано:

Геннадию Павловичу
Павелецкому.

В. О. 18-ая линия, д. 3, кв. 16.

Ленинград.
Leningrad.

Да, адрес написан верно. Почтальон не ошибся. Письмо адресовано моему отцу. Но откуда оно? Я осмотрел почтовую марку и штемпель и вскрикнул от удивления. Письмо было отправлено из города Ла-Паса, в Боливии. Гм, Боливия. Да ведь это же в Южной Америке!

Я сгорал от любопытства. Что может быть в этом письме? Я был убежден, что если бы мне удалось прочесть его, я узнал бы все: и чем за-

нимается мой отец, и куда он так часто уезжает, и что он прячет у себя в кабинете, и, даже, где находится моя родина. Любопытство мое было так велико, что я чуть было не вскрыл конверт и не прочел письма. Только страх перед отцом удержал меня. Я грустно положил письмо на стол и старался не глядеть на него.

Отец вернулся домой часа через два после прихода почтальона. Он был как-то необычно весел.

— Дай-ка поешь чего-нибудь, я здорово голоден, — сказал он.

Я стал торопливо накрывать на стол, а он все время тихо посмеивался и добрыми глазами смотрел на меня. Я был польщен и смущен этой молчаливой лаской. Он так редко замечал меня.

— Если дело мое удастся, будет и тебе хорошо, — сказал он вдруг и слегка дотронулся до моего плеча своей огромной ладонью. Но затем его глаза приняли обычное безразлично-строгое выражение, и он прибавил:

— А впрочем, ты ничего не понимаешь.

— Папа, — сказал я, — сегодня на твое имя пришло письмо.

— Письмо! Что ж ты молчишь! Давай его сюда.

Он распечатал письмо, быстро просмотрел его и подозрительно взглянул на меня.

— Ты не читал?

— Я чужих писем не читаю, — ответил я, оскорбленный таким подозрением и сгорая от любопытства. Но он уже забыл обо мне, сунул письмо в карман и большими шагами пошел к двери кабинета.

— Ты разве не будешь есть? — крикнул я ему. Он обернулся.

— Нет.

Потом помолчал, нерешительно глядя на меня, как бы соображая, пойму я его или нет, и вдруг сказал:

— Послушай, ты целыми днями шатаешься здесь по улицам. Скажи, не встречал ли ты около нашего дома сгорбленного человека с огромным красным галстуком на груди? Он одет в старый грязный фрак, ходит без шляпы, лыс, горбонос, и у него такие... странные глаза?

— Нет, я не встречал такого человека.

— Если встретишь, сейчас же беги ко мне и скажи.

Он вынул письмо из кармана, вошел в кабинет и заперся на ключ.

Я был совершенно подавлен и письмом из Бوليوии, и неожиданной отцовской лаской, и этим сгорбленным человеком с огромным красным галстуком, которого я могу встретить у нашего дома. Я строил бесчисленные объяснения отцовским тайнам, но чувствовал, что не только не приближаюсь к разгадке, но, наоборот, запутываюсь все больше и больше.

После этого случая, всякий раз, выходя на улицу, я осматривался, надеясь встретить лысенького человечка с красным галстуком. Но он мне не попадался.

Наша жизнь снова потекла обычной чередой.

Месяца через два после получения письма, я как-то вышел на улицу и пошел помечтать в порт. Был жаркий июньский день. Ленинградский порт, такой тихий зимой, летом превращается в настоящий содом. Навигация была в самом разгаре. Состав судов, стоявших в порту, менялся ежедневно.

Скрипели подъемные краны и блоки, ползли по подъемным путям товарные вагоны, сновали грузчики и матросы. Человек, не привыкший к порту, терялся бы в этой толчее. Но для меня гвалт порта был музыкой, а суматоха — парадом.

Осматривая знакомые суда, уже несколько недель стоящие в порту, я вдруг заметил только что пришедший странный парусник. Это был трехмачтовый бриг самого до-исторического вида. Сто лет назад его, пожалуй, сочли бы и большим, и прочным, и вместительным. Но в наше время такие суда уже давно переделаны в баржи.

Грязно-серые от времени паруса брига были собраны. Он сидел в воде, слегка наклонившись на правый борт, пузатый, ленивый и добродушный. На палубе не было никого. Это судно казалось необитаемым.

К его борту была причалена маленькая шлюпка. В шлюпке стоял полуголый негритенок в одних только грязных красных штанах и покрывал побуревшую от времени обшивку брига яркою желтою краской.

Он пел заунывную однообразную песню, состоящую из произносимых гортанных звуков, а вода наводила узоры на непросохшей краске.

Я подошел к корме брига и с удивлением прочитал: „Santa Maria Valparaiso“. Неужели эта посудина пришла сюда из Вальпарайзо? Неужели нашлись смельчаки, решившиеся плыть на ней через океан?

Я большими репительными шагами взошел на сходни, ведущие к судну. Голова негритенка оказалась подо мной.

— Сколько времени вы шли из Вальпарайзо? — крикнул я ему по-английски. Все моряки говорят по-английски, и я знал, что он поймет меня.

Он поднял голову, прервал свое пение и с удивлением посмотрел на меня.

— Пятьдесят восемь суток, сэр, — ответил он на дурном английском языке.

— А где ваши?

— Пьют, — лаконически сказал он и снова запел свою дикую песню.

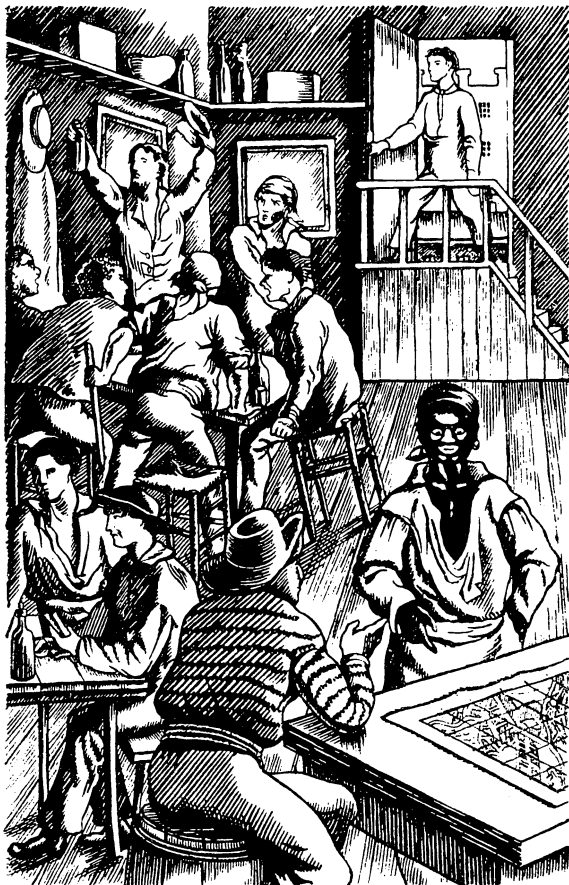
Ага! значит команда брига у нас в трактире. Я сейчас же полетел туда.

В трактире я сразу нашел новоприбывших моряков. Их было человек двадцать, бронзово-смуглых и оборванных. Они держались в стороне от завсегдатаев трактира, шумели и были уже навеселе. Я сел за соседний столик и стал наблюдать за ними. Никогда еще я не видел таких пестрых костюмов. Нет в поднебесной такого цвета, такого оттенка, который не был бы воспроизведен в их лохмотьях. Впоследствии, во время моих долгих странствований, я привык к тому, что моряки южного полушария одеваются, как попугаи, но тогда пестрота их костюмов поразила меня.

Гораздо однообразнее был цвет их собственной кожи. Лица их были не просто смуглые, как



В шлюпке стоял полуголый негритепок



В трактире я нашел новопривывших моряков.

лица цыган или кавказцев, а темно-бронзовые. Эта бронзовость кожи выдавала значительную примесь индейской крови.

Только двое из них отличались цветом своей кожи от прочих. Один — своей белизной, а другой — своей чернотой. Белый был высокий, полный человек с горбатым носом. Он держался прямо и немного надменно. Его черные до синевы волосы начинали седеть на висках. Он был одет в мягкий, светло-серый костюм, свободно облегавший его полное тело. Я сразу понял, что это капитан или хозяин судна. Он не пил и поглядывал на своих подчиненных начальственно и строго.

Негр был так же высок и толст. Он был одет в белые парусиновые штаны. Голова его была повязана красным шарфом. Его круглая физиономия блестела, как самовар, а мягкий обширный живот беспрерывно колыхался от добродушного смеха.

Он тоже ничего не пил, хотя я видел, что ему очень хочется выпить. Он все время уголком глаза поглядывал на водку и облизывал губы.

Через полчаса команда брига была совершенно пьяна. Тогда белый встал, взял негра за локоть и отвел его к другому столику, стоявшему рядом со мной. Негр долго не садился. Я понял, что он хочет разговаривать со своим господином стоя. Но белый взял его за руку и ласково усадил против себя.

Я стал прислушиваться к их разговору. Я люблю следить за интонациями непонятного мне языка. Всякий диалог — это поединок. Смысл слов мне непонятен, но позиция противников ясна совершенно.

Белый поручал негру что-то сделать, а негр был не уверен в своих силах. Белый говорил нарочито-подробно, ласково и в то же время повелительно. Негр старался понять, задавая вопросы, и нерешительно поглядывал на своего собеседника.

Вдруг одно слово, произнесенное белым, заставило меня вздрогнуть: это была моя фамилия — Павелецкий.

Негр сейчас же повторил ее. Я понял, что они говорили о моем отце. Затем белый вынул из кармана тщательно сложенный план Ленинграда и разложил его на столе. Затем стал водить карандашом по плану. Негр следил за ним. Я незаметно приподнялся и тоже следил за движением карандаша по плану. Чорт возьми, это становится интересным! Белый показывает путь от трактира к нашему дому.

Негр встал и вышел на улицу. Я выбежал за ним. Он шел так быстро, что я нагнал его только перед дверью нашей квартиры. Он собирался позвонить, но я вынул из кармана ключ и открыл дверь. Мы одновременно вошли в кухню.

Целую минуту мы молча смотрели друг другу в лицо. Он первый прервал молчание.

— Здесь живет мистер Павелецкий?—спросил он по-английски.

— Здесь,— ответил я, не спуская с него глаз.

— А вы кто такой?—спросил он, так же прямо смотря на меня.

— Я—сын мистера Павелецкого.

Негр вдруг улыбнулся, протянул свою черную руку и, к величайшему моему удивлению, погладил меня по голове.

— Ипполит?— сказал он, и его толстый, мягкий живот заколыхался от смеха.— Да как же ты вырос! Какие мы старики с твоим отцом, Ипполит!

Я даже вспотел от смущения и неожиданности.

— Ну, позови отца, Ипполит, — сказал он. — Скажи ему, что его хочет видеть Джамбо.

Я постучал в дверь отцовского кабинета.

— Что тебе надо? — услышал я из-за двери отцовский голос.

— Тебя хочет видеть Джамбо, — сказал я.

Дверь с грохотом отворилась и я увидел перед собою отца, бледного, с горящими глазами.

— Где он?

— В кухне.

Отец побежал на кухню, обнял негра и стал целовать его черную блестящую физиономию. Негр пыхтел, колыхал свой мягкий живот и что то застенчиво мяукал по-испански. Наконец, отец схватил его за руку и потащил за собой в кабинет. Щелкнул ключ, и я снова оказался один.

Ошеломленный и подавленный всем случившимся, я целый час сидел на диване в библиотеке и прислушивался к голосам, доносившимся из кабинета.

Через час отец вышел, проводил негра, запер за ним дверь и подошел ко мне.



Отец обнял негра.

— Ипполит, — сказал он. — Завтра я уезжаю.

— Опять на неделю? — спросил я.

— Нет, не на неделю, а на год. У меня важное дело. А ты на это время поедешь к своей тете в Ярославскую губернию, в деревню. Там тебе будет хорошо. Когда я вернусь в Россию, я напишу тебе, и ты снова приедешь ко мне.

Он ласково коснулся ладонью моего лба.

Я молчал и чувствовал, что сейчас заплачу. Отчего он не любит меня и не доверяет мне? Отчего он не берет меня с собой, а отправляет куда-то к чужим людям, к тетке, о существовании которой я слышу впервые.

— Я оставлю тебе денег, — сухо сказал он, заметив у меня на глазах слезы и приписывая их моей боязни остаться здесь одному без всяких средств. — Впрочем, мы завтра поговорим об этом с тобою подробнее.

Он большими шагами ушел в кабинет.

— Теперь или никогда! — прошептал он, закрывая за собою дверь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Отплытие.

Ночью я долго не мог заснуть. Лежал, глядел в потолок и думал. И под утро, когда на дворе запели петухи, а в порту заревели сирены, я решил, во что бы то ни стало, ехать с отцом.

Он уезжает со своими южноамериканскими друзьями на их доисторическом бриге «Santa Maria». Я завтра проберусь на «Santa Maria», где-нибудь

спрячусь и подожду, пока мы не проедем Кронштадт. Я тогда вылезу из своего убежища, обвиню отца и попрошу его дать мне какие-нибудь самые важные и самые трудные поручения. Ведь не выбросят же они меня в море! А все его важные и трудные поручения я выполню превосходно, и он увидит, какой я храбрый и умный мальчик. Тогда, о, тогда я стану правой рукой отца. С каким уважением будут относиться ко мне его друзья!

Я мечтал о том, как я спасу его, когда он, во время кораблекрушения, будет тонуть, как я один буду защищать его, больного и раненого, от шайки людоедов, где-нибудь в Новой Гвинее.

Под утро я задремал, и мне приснилось, что мы едем с отцом вдвоем на плоту по ровной, гладкой сияющей водной поверхности. Это океан. Наш корабль погиб, и только мы двое спаслись на этом плоту. У нас осталось пол кружки пресной воды. Мы оба умираем от жажды, но воду надо растянуть на возможно больший срок. И вот — отцу становится плохо. Он выпивает свою порцию воды. Но ему мало. Тогда я отдаю ему свою четверть кружки. Он пьет воду, долго-долго молча смотрит на меня и, наконец, ласково говорит:

— Мой милый, мой любимый мальчик.

Я вздрогнул и открыл глаза.

Около моей кровати стоял отец, высокий и прямой, в черном, длинном, застегнутом на все пуговицы сюртуке, и смотрел на меня, внимательно и любовно.

Конечно, это, может быть, мне показалось сном. В окно комнаты лился такой ослепительный, яркий, веселый свет, так бодро летал под потолком шмель, так бойко и звонко звучали во дворе го-

лоса детей, играющих в лапту, что слишком уж горько мне было бы видеть отца чуждым и хмурым.

Сладкая, теплая, с детства знакомая радость разлилась по всему моему телу. Я потянулся, зевнул и сел.

В эту минуту в комнату ворвался порыв свежего морского ветра, свес со стола бумагу и закрутил ее по полу.

— Папа! — сказал я, — море...

Но сине-серые стальные глаза отца уж были непроницаемы, как всегда. Я замолчал. Отец никогда не бывал строг со мной, но эта непроницаемость его взора была хуже всякой строгости. Он всегда смотрел через меня, не замечая меня, как будто я вовсе и не существовал. И все силы моей души, с самого раннего детства, я направлял на то, чтобы дать ему понять, что я существую, и не только существую, но и предан ему бесконечно.

— Ипполит! — вдруг заговорил он, все так же рассеянно и холодно глядя на меня, — я сейчас уезжаю. Сегодня вечером в восемь часов отходит твой поезд. Я оставил у тебя на столе в конверте сто рублей. Тете твоей я телеграфировал, она будет тебя ждать. Ну; прощай, — он протянул мне свою большую руку, — мы с тобой нескоро увидимся. Если все пойдет благополучно, — тут он нахмурил свои густые брови, — будущим летом я вернусь в Россию и вызову тебя к себе телеграммой.

Я с трудом сдержал улыбку. Как он будет удивлен, когда увидит меня на корабле!

В порту меня все знали. Пролететь во время суматохи на корабль, который грузят знакомые

грузчики, не трудно. А спрятаться там еще легче. Хотя бы в тех завалах свернутых канатов и брезентов, которые я заметил вчера на корме. Я был уверен, что туда ни один чорт не заглянет. Вообще, моряки с „Santa Maria“ вряд ли слишком заботились о чистоте и порядке на своем судне.

Только бы узнать, в котором часу бриг выходит в море... Если они уходят сейчас, и нагрузка уже кончена, я погиб. Мое сердце сжалось, и я почувствовал, что бледнею.

— Папа, — сказал я, совершенно забыв, что отец никогда не отвечал мне на вопросы, касающиеся его поступков, — в котором часу „Santa Maria“ выходит в море?

Одно мгновение мне казалось, что отец удивлен. Ведь он не мог знать, что я догадался, на каком корабле он уезжает. Но через минуту он уже смотрел на меня, как всегда — рассеянно и равнодушно.

— Сегодня ночью, — ответил он, кивнул мне головой и вышел. Через минуту во дворе раздались резкие, широкие отцовские шаги.

Я чувствовал себя безумно счастливым. Только бы пролезть незамеченным на корабль! А там отец возьмет меня с собою. Ведь все же он любит меня. Я вспомнил тот внимательный, долгий, нежный взгляд, каким он смотрел на меня, пока я спал. Он никогда еще так на меня не смотрел. Значит, ему горько со мной расставаться. Нет, мы не расстанемся никогда! Мне стало необыкновенно весело и захотелось сейчас же, сию минуту что-нибудь сделать. А до отплытия „Santa Maria“ осталось еще столько часов! Я решил для того, чтобы убить время, зайти в трактир. Кроме того, я еще ничего

не ел. Я вышел из своей комнаты и вдруг остановился, как вкопанный.

Дверь в отцовский кабинет была раскрыта настежь.

Очевидно, отец, уходя, забыл ее запереть. Наконец-то мне представился случай осмотреть эту таинственную комнату! Но честно ли входить в кабинет, когда я знаю, что это будет неприятно отцу, что он всегда запирает его от меня?

Несколько минут я, в нерешительности, стоял перед раскрытой дверью. Затем на цыпочках зашел в кабинет.

Это была комната в одно окно, небольшая, гораздо меньше, чем я ее себе представлял. Почти треть ее занимал диван, на котором в беспорядке валялось постельное белье. У окна стоял письменный стол, и на нем лежали три толстые книги в кожаных переплетах. Я раскрыл одну из них. Это был рукописный корабельный журнал какого-то американского китобойного судна за 1901 год. Остальные две книги были тоже рукописные. Они были испещрены узкими строчками каких-то странных иероглифов. „Должно быть, по-китайски или по-японски“, подумал я. У стены против дивана стоял большой черный негорючий шкаф. Он был закрыт. А рядом стояла маленькая этажерочка. На ее верхней полке лежал большой незапечатанный конверт. Я взял конверт, и из него упали на пол фотографическая карточка и локон светлых рыжеватых волос. На замусоленной старой фотографии была изображена молодая женщина удивительной красоты. Это, должно быть, ее волосы. Кто она? Неужели это?.. Нет, не может быть. У меня захватило дыхание. Неужели

это мама? Я, как очарованный, смотрел то на фотографию, то на локон.

— Стыдно, Ипполит, — вдруг услышал я за собой громкий голос.

В дверях кабинета стоял отец. Глаза его сверкали гневом. Он сжимал кулаки. Никогда еще я таким не видел его. Казалось, он хотел избить меня и с трудом сдерживался.

— Да как ты смеешь... — продолжал он, но гнев мешал ему говорить, и он замолчал. Я чудовищно покраснел. Я чувствовал, что у меня краснеют не только лицо, но и шея, и плечи, и даже спина. Мне было мучительно стыдно.



В дверях кабинета стоял отец.

Отец, как молния, поллетел ко мне, вырвал у меня из рук открытку и локон и торопливо запрятал их к себе в жилетный карман.

— Я не знал, что в моем собственном доме растет шпион, — говорил он, доставая маленький серебряный ключик и открывая шкаф. Руки его дрожали.

Он вынул из шкафа кипу разрозненных бумажек, сунул их под мышку и, не взглянув на меня, выбежал из комнаты.

Одна из этих бумажек упала на пол. Отец не заметил и через секунду был уже на кухне. Я поднял бумагу и бросился за ним. Но выходная

дверь захлопнулась перед моим носом. Я слышал, как он бежал с лестницы. Я сложил бумажку, спрятал ее в конверт вместе со сторублевкой, сунул конверт в карман и вернулся в библиотеку.

Итак, все кончено. Отец считает меня подлецом и шпионом. Если я не уеду с ним сегодня ночью, я никогда его больше не увижу. Разве он станет возвращаться в Россию для того, чтобы повидать своего сына-шпиона?

Вся моя утренняя радость и веселость прошли бесследно. Но решимость во что бы то ни стало пробраться на „Santa Maria“ окрепла.

И с бешеной энергией я принялся приводить свой план в исполнение. Это была энергия отчаянья — неистовая и в то же время расчетливая.

Я сытно поел в трактире. Потом пошел в порт к „Santa Maria“. Нагрузка только начиналась. Знакомые грузчики приветливо мне улыбались. Я купил коробку хороших папирос и оделил ими грузчиков. Это удвоило их приветливость. Я боялся встретить отца, но его не было видно. За нагрузкой следил только один представитель команды судна — горбоносый метис в пестрых лохмотьях.

Тогда я решил действовать. Трое грузчиков с трудом тащили огромный заколоченный ящик. Я предложил им помочь. Они охотно приняли мои услуги. С этим ящиком я пробрался на борт и уже не сходил оттуда. Сперва я вертелся возле грузчиков, помогал им, болтал с ними, потом, заметив, что метис не следит за мной, я тихонько пробрался на корму. Бриг, довольно опрятный снаружи (его только что выкрасили в ярко-желтый цвет), был неимоверно грязен внутри. Вся его палуба была забросана всевозможным хламом. А



С этим ящиком я пробрался на борт.

на корме находился целый склад сложенных канатов. Всякий человек, любящий море, знает и любит эти канаты. Они пахнут океаном, солнцем, солью и тропиками.

Они были свернуты в гигантские, выше человеческого роста, катушки.

Здесь меня никто не поймает.

До одиннадцати часов ночи, не видя ничего, кроме канатов, кусочка неба и кусочка моря, я пролежал ничком на досчатой палубе. Чего-чего только я не передумал за это время! И об отце, и о своем утреннем позоре, и о маме, которую я никогда не видел. Но больше всего я думал о предстоящем путешествии. Куда идет этот странный бриг? Зачем? Откуда этот толстый негр знает моего отца? Ведь он видел меня маленьким мальчиком! Но где? Неужели в том городе, на берегу синего озера? Но все эти вопросы были так неразрешимы, так запутаны, что я скоро оставил их и стал думать о другом.

Дул западный морской ветер. Идти против ветра трудно. Мы будем идти медленно и долго.

Вот стало темнеть (в Ленинграде в июне сумерки начинаются не раньше одиннадцати). Загрела якорная цепь, и мы тронулись в путь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Крысиный палач.

Было холодно. Ветер продувал меня насквозь. Я прижался к канатам и стучал зубами. Скорей бы проехать Кронштадт! Тогда я выйду из своей

засады, отыщу отца и попрошу у него прощения. Он простит меня и поведет погреться.

Но встречный ветер не давал нам выйти в открытое море. Мы все время лавировали в Невской губе и почти ежеминутно переходили на новый галс. Шли часы за часами, а темный контур Кронштадтского собора все так же вырисовывался на зеленовато-желтом ночном небе. Изредка я дремал, но крепко уснуть не мог. Слишком уж было холодно. Все было тихо, только волны мерно плескались о борт. И я, наконец, заснул.

Проснулся я от резкого внезапного звука, раздавшегося совсем близко от меня. Звук этот напоминал дыхание. Я оглянулся. Было почти совершенно темно. Огромная свинцовая туча закрыла небо. Слабый рассеянный свет белой северной ночи едва проникал через нее. Ветер еще усилился. Волнение, должно быть, тоже, потому что качка стала довольно заметной. Я страшно озяб. Холод сделал меня безразличным ко всему. Лишь бы только не покидать того кусочка пола, который я пригрел своим телом. Мне мучительно не хотелось двигаться, и я снова стал засыпать. Но вдруг звук повторился.

— Ап-чхи! ап-чхи! — раздалось над самым моим ухом. — Какая чертовски холодная ночь. У нас, можно сказать, олеандры цветут, пальмы, не продохнуть от жары, а здесь... а-ап-чхи, чхи! Чорт знает что такое.

Затем раздался ряд разнообразных, оглушительных, непередаваемых звуков, из которых я понял, что находящийся рядом со мною человек сморкается.

Я поднял голову.

Сноп ослепительно ярких лучей брызнул мне прямо в лицо. Я ничего не видел кроме одной необычайно ярко светящейся точки. Это была лампочка карманного электрического фонарика. Ошарашенный, испуганный и продрогший, я несколько минут безмолвно смотрел в фонарик. Меня, очевидно рассматривали.



Сноп лучей брызнул мне прямо в лицо.

— Простите, что мне пришлось побеспокоить вас, — вдруг снова заговорил тот же голос. — Я не имел чести быть вам представленным, но я, кажется, догадываюсь, кто вы.

Это был тоненький визгливый тенорок, вьедливый и неприятный. Слова он произносил мягко, с чуть заметным южно-русским акцентом.

— Но смею вас уверить, мы еще успеем познакомиться, — продолжал он. — Если вас не затруднит, ползите вон туда, — тут фонарик сделал быстрое и резкое движение в сторону узкого про-

хода между двумя свертками канатов и снова уставился мне в лицо.

Я так озяб и был так поражен, что не понимал того, что мне говорил незнакомец. Я ясно слышал слова, но они почти не доходили до моего сознания. Я только дрожал и жмурился.

Незнакомец несколько минут выжидательно молчал. Затем в снопе света, направленном на меня, появился длинный узкий предмет. Это был револьвер. Я вскрикнул, закрыл лицо руками и втянул голову в плечи.

— О, тысяча извинений, — не спуская с меня револьвера, все так же любезно продолжал он. — Вы сами меня принуждаете к этому. Советую вам, если, конечно, вы разрешите мне дать вам совет, исполнить мои просьбы немедленно.

Его вежливость так не соответствовала моему положению, что можно было подумать, что он издевается надо мной. Но мне было не до обид. На этот раз я поспешил исполнить его требование и торопливо пополз между свернутыми канатами в указанном направлении. Он все время полз рядом на полкорпуса сзади меня и продолжал освещать мою голову электрическим фонариком. Наконец, он слегка дотронулся до моей спины. Я остановился. Он стал шарить руками по полу, нащупал массивное железное кольцо, ввинченное в пол, и потянул за него. Откинулась дверца, и я увидел перед собой совершенно черное квадратное отверстие.

— Прошу вас, прыгайте, — снова заговорил незнакомец, вежливо, но упорно пододвигая мои ноги к отверстию. Сердце мое сжалось от ужаса. Что там, на дне этой дыры? Вода? Или далекий

деревянный пол, о который я расшибусь на смерть? Но у меня не было ни сил, ни возможности сопротивляться. Цепкие пальцы незнакомца опустили мои ноги в отверстие, и я почувствовал, что оттуда веет теплом.

— Ну, прыгайте же! — сказал он. Я слегка вскрикнул и прыгнул.

Я пролетел сажени полторы и упал на что-то мягкое. Первое ощущение мое было приятное: здесь было тепло, даже душно.

Я взглянул наверх и увидел серый квадрат неба. Но вот на нем ясно вырисовались длинные черные человечески ноги. Незнакомец висел надо мной на руках. Затем он качнулся впотьмах и во что-то уперся ногами. Взметнулись две черные, узкие, длинные фалды фрака. Трах! Захлопнулась крышка, и я очутился в абсолютной темноте. Незнакомец прыгнул и упал рядом со мной.

— Да-с, пренеприятная ночь, — заговорил он. — Этакий холодище в июне месяце. — Я услышал, как он потирает руки. — Нам с вами пришлось позябнуть, да-с. Ну, ничего, теперь обогреемся. Не плохо было бы скушать чего-нибудь горяченького, как вы находите? а?

Я молчал. Только сейчас я окончательно проснулся. Теплый воздух вернул мне интерес к окружающему. Я пожимал плечами, чувствуя, что весь прогреваюсь насквозь, и спокойно думал: что же будет дальше? Страх мой прошел совершенно. Голос этого человека звучал так обыденно и просто, что я не мог бояться его.

Он чиркнул спичкой и зажег стоявший здесь же на соломе примус. Примус ярко вспыхнул, зашумел, и при его колеблющемся свете я мог

разглядеть помещение, в котором мы находились. Это было нечто вроде комнаты с высоким потолком. Площадь пола была не больше одной квадратной сажени. Стены ее составляли огромные, почти в человеческий рост ящики, в четыре ряда поставленные друг на друга. Единственным выходом из этой норы был люк в потолке. Ящики доходили до самого потолка. Между ними не было ни одной щели. К одному из ящиков, совсем низко, футах в трех над полом были прибиты большие круглые стенные часы, которые били каждые пятнадцать минут.

Пол был покрыт толстым слоем примятой соломы. По этой соломе в полном беспорядке было разбросано несколько предметов: большой жестяной бидон, старый бараний тулуп, свернутый половичок, корзинка, сковородка, несколько ножей и вилок, несколько пустых жестянок из-под консервов. В одном из углов находилось какое-то странное приспособление из проволоки.

Когда примус ярко разгорелся, мой тюремщик вынул из корзины сверток с маслом, пол-дюжины яиц и пару сухарей. Затем он взял сковородку, намазал ее маслом, вылил в нее яйца и поставил на огонь.

Теперь я впервые мог разглядеть его.

Это было тощее, длинное сгорбленное существо самого странного вида. Череп его имел форму яйца, обращенного острым концом кверху. Он был лыс на макушке. Жидкие рыжевато-каштановые волосы обрамляли кольцом стремящуюся ввысь лысину. Это придавало ему сходство с католическим монахом. Лоб был необычайно низок, волосы росли почти до самых глаз. Бровей

не было. Маленькие торопливые выцветшие глазки были поставлены чрезвычайно близко друг к другу и сидели в глубоких глазных впадинах. Нос огромный, горбатый, свисающий почти до самого подбородка. Длинный беззубый рот с влажными бледными губами. И большие оттопыренные уши, заостренные кверху.



Мой тюремщик.

Взглянув на его одежду, я сразу догадался, кто он такой. Это тот самый человек, которого остерегался мой отец. Разве у кого-нибудь, кроме него, может быть такой яркий красный галстук, развевающийся из стороны в сторону? Этот галстук вторил малейшему движению своего владельца,

а владелец его был до чрезвычайности суетлив и подвижен. Он то подкачивал примус, то, посапывая носом, пробовал с ножа яичницу, то огромными ладонями счищал сор с своего фрака.

Его фрак (и зачем это он носит фрак?) был удивительно грязен. Особенно спереди. Еще бы, как ему не быть грязным, если мой незнакомец все время ползает на животе. Нечего говорить, что мавишка и крахмальный воротничок незнакомца были темно-шоколадного цвета.

Наконец, яичница была готова. Он снял сковородку с примуса, обернув руки фалдами своего фрака, чтобы не обжечься. При этом конец его красного галстука полоскался в яичнице. Он провел ножом по сковородке и разрезал яичницу пополам.

— Утощайтесь, прошу вас, — сказал он. — Какая жалость! Ничего больше не могу вам предложить. Чем богаты, тем и рады.

Но я отказался. Во-первых, мне было противно, а во-вторых, мне не хотелось пользоваться его гостеприимством. Что же это такое! Сперва угрожает человеку револьвером, а потом угощает яичницей. Нет, дорогой: если хочешь угостить, не угрожай револьвером.

Мой незнакомец и сам справился с яичницей. При этом ему не пришлось испачкать ни ножа, ни вилки. Он высоко закидывал голову назад, широко разевал рот, хватал всеми пятью пальцами кусок яичницы, быстрым движением поднимал его над запрокинутым ртом, вытягивал голову и наслаждался, слизывая тонкими, бледными губами текущий по пальцам желток. Все это он делал чрезвычайно торопливо, потому что только скорость гарантировала ему попадание яйца в рот, а не на галстук.

Когда яичница была кончена, он съел оба сухаря, вытер губы рукавом, а руки соломой, уложил масло в корзинку и подошел к странной проволочной клетке, стоявшей в углу.

Он поднял ее и посмотрел на свет. Это была колоссальная крысоловка. В ней сидела большая седоватая крыса. Она черными блестящими глазками смотрела ему в лицо. Он долго внимательно рассматривал ее, звонко посапывая носом. Затем нагнулся и достал из-под соломы клубок тонкой бечевки. Он отрезал от нее кусок аршина в четыре и завязал на нем петлю. Потом он сделал быстрое и ловкое движение, бешено взмотнув фалдами и галстуком. Бечевка перекинулась через какую-то

висевшую высоко во мраке невидимую жердь. Один ее конец он держал в руке, а другой с петлею висел в воздухе на уровне его головы. Тогда он раскрыл крысоловку, вынул крысу, осторожно всунул ее голову в петлю и потянул за бечевку. Крыса стала медленно подыматься, судорожно дергаясь в воздухе. Лицо этого палача выражало полный восторг. Рот его был полуоткрыт, как у маленьких детей, занятых каким-нибудь недозволенным, но приятным делом.

— Что вы делаете! — закричал я.

Крыса исчезла во мраке под потолком. Он прикрепил конец своей бечевки к какому-то гвоздику, вбитому в ящик, и посмотрел на меня.

— Это я так, извините. Ищу развлечения от скуки. Не угодно ли посмотреть?

Он зажег электрический фонарик и осветил потолок. Под потолком на веревках, спускавшихся с длинной планки, перекинутой через всю комнату, болталось с полдюжины повешенных крыс.

Я почувствовал, что по моей спине течет струйка холодного пота.

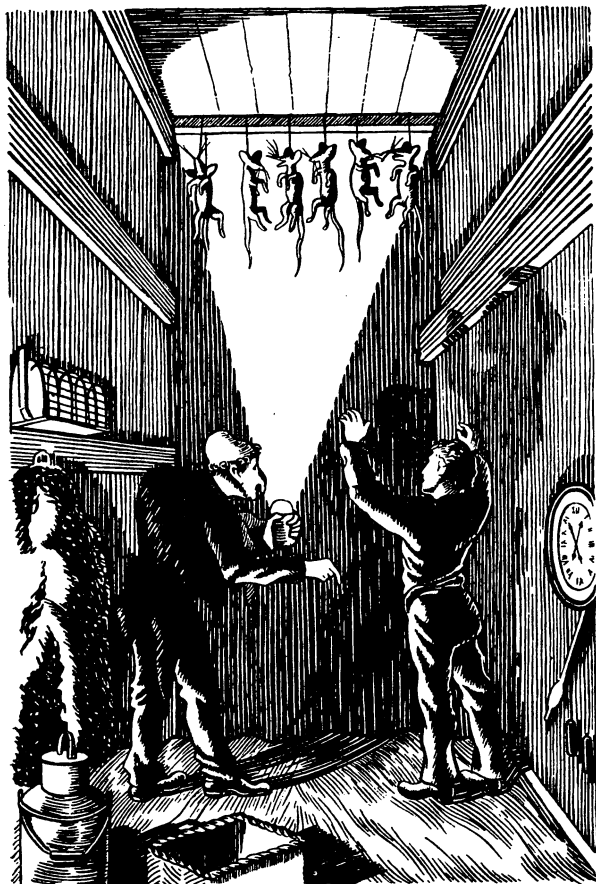
ГЛАВА ПЯТАЯ.

Узник.

Мы оба долго молчали. Он лежал на животе и ковырял соломинкой в зубах. Я сидел, прислонившись спиной к ящику, и разглядывал его.

Наконец, я прервал молчание.

— Кто вы такой? — спросил я.



Под потолком болтались повешенные крысы.

Он сейчас же вскочил на ноги и отвесил мне глубочайший поклон, прижимая левой рукой свой галстук к груди.

— Разрешите представиться... совсем забыл... Аполлон Григорьевич Шмербиус. А вас я знаю. И вашего батюшку знаю.

— Что вы тут делаете?

— Живу-с. Обитаю. Творю. То-есть, хочу сказать, сочиняю оперы. Я кой-где известен. Даже знаменит-с. Но не в России. Нет, не в России. Россия меня еще не знает.

Тут он гнусавым тенорком затянул какую-то арию на незнакомом мне языке. Свое пение он сопровождал отчаянной жестикуляцией, то закидывая голову назад, то размахивая руками, и прыгал, прыгал, и фалды его фрака метались из стороны в сторону. А за его спиной, на ящиках, кривлялась его чудовищная тень.

— Ну и обезьяна, — подумал я.

— А вы не поете? — спросил он, оканчивая свое пение.

— Нет, не пою.

— Жаль, жаль. Это прекраснейшее из искусств. Я бы устроил вас в лучший оперный театр мира. И не играете? Жаль.

— Где вы встречали моего отца? — перебил я его.

— О, всюду. Нет ни одного места на земном шаре, где бы я его не встречал. Он чудесной души человек. Жаль только, не поет. Знаете, я везу с собой превосходную певицу. Самородок. Испанка. Удивительная красавица. Она будет жемчужиной моего театра. Достал с величайшим трудом. К сожалению, в ней нет настоящего тем-

перамента. Это в испанке странно. В ней много лиризма, но я, знаете ли, предпочитаю темперамент.

— А вы знакомы с негром Джамбо? — спросил я.

— Как же. — ответил он. — Хорошо знаком. Он едет тут же с нами, на „Santa Maria“.

— А кто он такой?

— Он? Он беглый каторжник. Родился на острове Ямайке. Служил кельнером в Соединенных Штатах. Был обвинен в том, что зарезал своего хозяина. О, не бойтесь! Это было ложное обвинение. Хозяина убил его же собственный сын. Ну, в Америке, знаете ли, легче обвинить невинного негра, чем виновного белого. Джамбо отправили на каторгу, на Филиппинские острова. Он оттуда сбежал. Потом он, потом...

Последние годы своей жизни он прожил в Боливии, был управляющим в одном богатом ранчо.

Часы проббили пять. Наверху уже взошло солнце. Аполлон Григорьевич Шмербиус сладко потянулся и зевнул.

— Теперь — спать. Завтра рано утром работа, знаете ли. Ну, я тушу примус.

Наступила полная тьма. Нет, здесь я спать не буду. Где угодно, но только не здесь. Я по-



Он затянул какую-то арию.

дожду, когда эта обезьяна уснет, открою люк и убегу. Мы, должно быть, уже давно проехали Кронштадт. Я мигом найду отца и выплыву у него в каюте.

Вот, наконец, до меня донеслось легкое равномерное посвистывание. Шмербиус спал. Я сел. Он все так же свистел носом. Я поднялся на ноги. У меня, разгибаясь, хрустнуло колено. Я остановился и испуганно прислушался. Нет, он храпит попрежнему. Я нащупал стену, нашел уступ и поднялся на него. Через минуту я уже сидел верхом на планке, служившей виселицей несчастным крысам. Сейчас я открою люк и там — свобода.

И вдруг я почувствовал, что меня схватили за ногу. Я попробовал вырваться, но тщетно. Цепкие пальцы крепко держали меня. Я посмотрел вниз. Глаза моего тюремщика фосфоресцировали в темноте, как глаза кошки или филина.

— Отпустите! — сказал я.

— Не волнуйтесь! — услышал я его въедливый неприятный голос. — Советую вам слезть. Я бы слез на вашем месте.

Я нагнулся и вцепился в его руку ногтями. В ту же секунду вторая его рука обхватила меня, и я был снят, как курица с насеста, и поставлен на пол.

— Как вы смеете, — кричал я. — Я скажу отцу и...

— Вот это я люблю, вот это характер, — говорил он. — Вы щенок хорошей породы.

Я сжал кулаки и ринулся навстречу этим сияющим как фонари глазам.

Снова цепкие руки подхватили меня, подняли высоко на воздух и с силой бросили в угол. Я расшиб голову и едва не потерял сознание.

— Спи́те, — совершенно спокойно сказал он, — я уверен, что мы скоро будем друзьями!

В его голосе снова прозвучала заискивающая привычно-подобострастная нотка.

И я заснул. В восемь часов он разбудил меня легким прикосновением руки. Я вздрогнул и раскрыл глаза. Рука его была холодная, как у мертвеца.

— К сожалению, должен уходить, — заговорил он. — Обязанности, знаете, дела. Вернусь вечером, в семь часов. Сделайте себе яичницу, вот масло, сухари. Бензин в бидоне. Книжеч, к сожалению, у меня нет, боюсь, что вам будет скучно. Но зато есть ноты. Вы не читаете с листа? Жаль, жаль.

С ловкостью обезьяны он очутился на крысиной планке и открыл люк. Яркий дневной свет хлынул в нашу нору. Он высунул голову и осмотрелся по сторонам. Свежий морской ветерок кинул ему красный галстук в лицо и взметнул его фалды. Через секунду он исчез, захлопнув за собою люк.

Я чувствовал себя прескверно. На затылке у меня вскочил огромный сыняк, который мучительно ныл. Была довольно сильная качка, и меня немного тошнило. Но отсутствие этого человека вдохнуло в меня новую надежду. Экий он, право, чудак. Неужели он думает, что мне не удастся отсюда выбраться?

Я встал и с трудом вскарабкался на крысиную планку. Она подогнулась подо мной, и повешенные крысы закачались из стороны в сторону. Добраться с планки до дверцы люка было не так-то легко. Шмербиус был ловче меня и выше ростом. Я с величайшей осторожностью стал ногами на планку и уперся головой в запертый люк. Нет, он не

поддается. Я толкнул его обеими руками, но тщетно. Он даже не заколебался. Очевидно, дверца заперта на замок. Но свет примуса был недостаточно яркое, я не мог найти этот замок.

Я спустился вниз, взял спички и снова влез на планку. При свете спички я увидел крохотную



Я с трудом вскарабкался на крысину планку.

замочную скважину, не больше полутора миллиметра длиной. Я стал стучать в дверцу кулаками. Но звук получался глухой, почти неслышимый. Дверца, казалось, была сделана из сплошного металлического куска. Я ожесточенно колотил кулаками, пока мои руки не покрылись кровоподтеками. Тогда я снова слез, взял нож и в третий раз взобрался наверх.

Это был крепкий кухонный нож с массивной железной ручкой. Я взял его за лезвие и стал ко-

лотить в дверцу люка. Все напрасно. Стук, казалось, даже не был слышен наружу. Во всяком случае, дверца была так плотна, что шум моря не проникал в мою нору. Я продолжал неистово стучать в течение полчаса. Пот градом катился с меня. Наконец, руки мои одеревенели от усталости. Я с трудом перевел дыхание и спустился вниз, на солому.

Итак, я в тюрьме. Я в плену у этой плешивой обезьяны, у этого жестокого непонятного человека.

Кто он такой? Сумасшедший, сбежавший из лечебницы для душевно-больных, или злодей, жаждущий гибели моего отца? Зачем я ему нужен? Ведь я в его власти, он может меня повесить, как он вешает крыс, и никто никогда об этом не узнает.

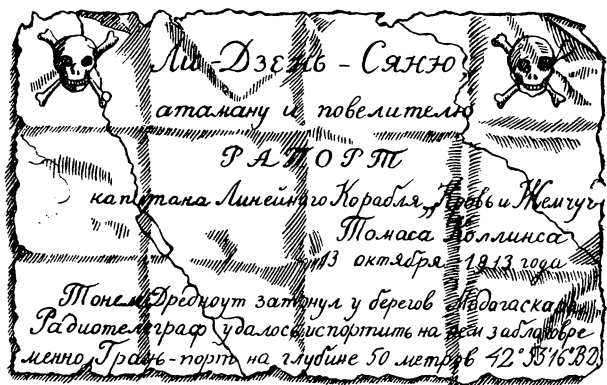
Мне стало ужасно жалко самого себя. Голова моя ныла от вчерашней драки со Шмербиусом, я устал и прескверно себя чувствовал. Мне стало жалко своей комнаты в Ленинграде, своей свободы, порта, трактира, книг. Как чудно я мечтал в библиотеке, просиживая долгие зимние вечера возле горячей печки! Зачем я полез на это проклятое судно! Я чуть не заплакал от огорчения.

Но сейчас же мне стало стыдно своего малодушия. Я столько мечтал о настоящих приключениях и, вот теперь, когда мои мечты начали сбываться, я падаю духом. Нет, я уйду отсюда. Я должен дать знать отцу, какая гадина скрывается у него на корабле. И тогда отец простит меня и поймет, что я не шпион. А прощение отца мне важнее всего на свете. Я сделаю все, чтобы добиться его.

Подумав об отце, я вспомнил о той бумажонке, которую он обронил вчера у себя в кабинете. Она должна быть у меня в кармане, в конверте вместе со сторублевкой. Но имею ли я право прочесть ее? Ведь если бы отец видел, как я ее читаю, он снова назвал бы меня шпионом. Но я-то знаю, что я не шпион. Я знаю, что не употреблю сведений, которые я получу из этой бумажки (если только в ней есть какие-нибудь сведения) во вред отцу. А мне необходимо разобраться во всей этой таинственной истории. Ведь я как впотьмах, не знаю, чего мне бояться, что делать, как помочь

себе, чем могу быть полезным отцу. И я развернул бумажку и разложил ее на соломе возле примуса.

Это был написанный по-английски документ. Или, вернее, часть документа, ибо нижняя часть бумажки была оторвана. Вообще бумажка эта была чрезвычайно истрепана и измята. В многих местах она была тщательно подклеена. Привожу ее в переводе дословно.



Бумажка была истрепана и измята.

Вот и все. Странный документ. Отрывок какой-то жестокой морской трагедии. На трех строчках сообщение о гибели трех судов.

Рапорт. Гм, кому рапорт? Какой-то китаец с трехэтажным именем и нелепым титулом, которому рапортует капитан британского или американского линейного корабля. Эге! да я, кажется, начинаю догадываться, в чем здесь дело. Как это я не заметил до сих пор этих странных гербов, стоящих на углах документа! Череп и скрещенные кости.

Да ведь это гербы той державы, которая оспаривала Средиземное море у военных галер Помпея, которая в продолжение трех веков — шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого — владела тремя океанами: Атлантическим, Индийским и Великом! О, буйная, вольная держава киликийских пиратов, пиратов Малайского архипелага, свободолюбивых корсаров, держава капитанов Дрэка, Эвери и Кидда! Как могла попасть к моему отцу эта бумажонка, украшенная гербами, наводившими некогда ужас на расчетливых испанских купцов? Но разве могут пираты жить в двадцатом веке, управлять линейными кораблями и топить британские дрейфоты?

Нет, сколько я ни стараюсь проникнуть в тайны отца, я все больше запутываюсь. Я уныло сложил бумажонку и сунул ее в карман. Стоит ли ломать голову над вопросом, который невозможно разрешить? Все свои силы я должен направить на то, чтобы вырваться из этой проклятой дыры.

Прежде всего надо поесть. Голод мучил меня нещадно. Я поборол свою брезгливость и сделал себе яичницу на той самой сковородке, с которой ел вчера Шмербиус. За едой я обдумал план действий. Не удастся ли мне выдвинуть хоть один из ящичков, составляющих стены моей тюрьмы? Ведь за этими ящичками может быть какое-нибудь пустое пространство, откуда я смогу выбраться наружу.

Я деятельно принялся за работу. Со всей силы налег я на большой ящик, к которому были прибиты стенные часы. Но он даже не заколебался, и только огромная крыса выскочила из-под него и юркнула в солому. Я принялся за соседний ящик, но столь же безрезультатно. Нет, ящички, стоящие

внизу, мне не сдвинуть. Надо попробовать те ящики, которые соприкасаются с потолком.

Я снова полез наверх и изо всех сил потащил к себе один из верхних ящичков. Но все напрасно. Ящик не двигался. Он был полон чем-то тяжелым. И все мои старания пропали даром. Только повешенные крысы подо мной отплясывали какой-то необычайный танец.

В совершенном отчаянии, я спустился вниз на солому. Пот катил с меня градом. Я решил испытать последнее средство. Нужно выломать одну из стенок какого-нибудь ящика, вытащить из него все содержимое и, выломав противоположную стенку, пролезть через него насквозь.

Я взял нож и принялся отковыривать доски. Но и тут меня постигла неудача. Ящики были необычайно крепки и окованы железом, а нож был тонок и гнулся. Ах, если бы у меня был топор! Целых два часа с бесплодным упорством я работал над ящиками. Наконец, потеряв терпение, я слишком сильно надавил рукой, и нож сломался.

Тут безысходное отчаяние охватило меня. Бешено воя, я взобрался на верх и принялся что было силы колотить кулаками в дверцы люка. Вдруг часы пробили семь, крышка люка внезапно откинулась, я потерял равновесие и полетел вниз. Через секунду рядом со мной на солому упал Шмербиус.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

У меня есть союзница.

Так шли дни за днями. Я жил при мелькающем свете вечно шумящего примуса, питаюсь яич-

нипей и сухарями, заключенный в узкую щель между ящиками в трюме неизвестно куда плывущего странного корабля. Ни один звук извне не проникал сюда. Только по изменениям качки я догадывался, буря ли на море или штиль.

Аполлон Григорьевич Шмербиус, мой тюремщик и сожитель, вставал каждое утро в восемь часов и куда-то уходил через люк в потолке. Ровно в семь часов вечера он возвращался и почти неизменно приносил с собой что-нибудь — то бензин, то яйца, то сухари, то воду. Точен он был как хронометр. Уходил ровно в восемь, приходил ровно в семь. Придя, он сейчас же принимался готовить ужин. Я никогда не ел с ним вместе, потому что он был чрезвычайно неряшлив, и я не мог побороть свою брезгливость.

Поев, он вешал очередную крысу. Эта его жестокость возмущала меня до глубины души. Те дни, когда крыса не попадалась в крысоловку, были для меня праздниками. Я с упоением смотрел, как он, разочарованный и огорченный, осматривает пустую клетку. Я пробовал выпускать крыс на волю до его прихода; но это мне не удавалось. Слишком уж хитро закрывалась проклятая крысоловка. Повесив крысу, он смазывал ее каким-то составом, предохраняющим от разложения, но иногда забывал это сделать, и тогда на следующий день в нашей комнатушке нельзя было продохнуть от ужасающей вони.

Окончив казнь, он обычно заговаривал со мной о чем-нибудь, не имеющем прямого отношения к моему положению. Собеседник он был прекрасный, хотя несколько странный. Я долго не мог привыкнуть к его обезьяньим ужимкам, к его манере

вечно перескакивать с одной темы на другую. Он много рассказывал о себе, но рассказывал так, что я, в сущности, ничего не мог узнать о нем. Нет на земном шаре такого места, где бы он не бывал. Воодушевленно гримасничая, с развевающимся галстуком и фалдами, он рассказывал мне об охоте на слонов в Центральной Африке, об игорных притонах Сан-Франциско, о ловле жемчуга на Тихом океане.

Море и морское дело он знал превосходно. Рассказы о кораблекрушениях и необитаемых островах просто сыпались из него. Он не раз гонялся за китами возле Гренландии и бил тюленей на острове Врангеля.

Рассказы его бывали до того увлекательны, что я порой забывал, что он мой враг, что он жестокий, темный проходимец и слушал его с восхищением.

Но больше всего он любил говорить о музыке. Он был пламенно влюблен в нее. За те недели, которые я прожил в трюме «Santa Maria», я получил прекрасное музыкальное образование. Память его была необыкновенна. Он пропел мне своим гнусавым тенорком, чуть-чуть пошевеливая оттопыренными, заостренными кверху, как у летучей мыши, ушами, почти все произведения французских, немецких, русских и итальянских композиторов. Итальянцев он любил больше всего. Каждое мое замечание, если оно было хоть сколько-нибудь осмысленно, приводило его в восторг. С величайшим энтузиазмом рассказывал он мне, что он где-то строит огромный оперный театр, который будет лучшим оперным театром мира.

— А лучшую певицу этого театра я везу с собой, здесь, на этом же корабле, — говорил он.

И, несмотря на то, что он был грязен и жесток, несмотря на то, что он держал меня взаперти в вонючем темном трюме, вместе с дохлыми крысами, я порой чувствовал к нему симпатию. «Во всяком человеке», думал я, «злое переплетено с добрым, хорошее с дурным; может быть, и он не совсем такой дурной человек, каким показался мне вначале».

Надежды вырваться из своей тюрьмы я не оставлял ни на минуту. Днем, оставаясь один, я измышлял различные планы бегства. Но сколько-нибудь осуществимым мне казался только один: выломать у одного из ящиков стенку, вытащить его содержимое, выломать вторую стенку и пролезть ящик насквозь. И там — свобода. Но для этой работы надо иметь какое-нибудь орудие, вроде топора или сечки, а у меня не было ни того, ни другого. Даже нож был теперь сломан, а голыми руками сломать ящики, окованные железом — невозможно. И дни проходили за днями, а положение мое не менялось.

Наконец, удача мне улыбнулась. Я, совершенно случайно, нашел под соломой шестидюймовый железный гвоздь. Я тотчас же принялся отковыривать им доски одного из нижних ящиков. Сперва моя работа была неуспешна, но, наконец, одна из досок треснула и отскочила. И я чихнул. Из образовавшейся щели сейчас же целой рекой посыпался черный перец. Обломок доски перелетел через всю мою каморку и ударился в противоположную стену. Звук получился глухой и гулкий, как если бы ящик, в который ударились доска, был пуст.

Нежданный план возник у меня в уме. Пересыпать перец из ящика в комнату долго и хлопотливо. Тот ящик, в который ударился обломок доски,

должно быть, пуст. Пролезая через этот ящик, я бы двигался к центру судна, откуда у меня больше всего шансов выбраться наружу.

Нужно взломать этот ящик!

Было всего только три часа дня. До возвращения Шмербиуса оставалось четыре часа. Я не торопясь принялся за работу.

Минут через двадцать две доски этого ящика были выбиты. Он вовсе не был пуст. Просунув в образовавшееся отверстие руку с зажженной спичкой, я увидел, что в нем находится автомобиль. При колеблющемся свете спички тускло сияли его черные металлические части. Между колесами его было пустое пространство. Я выбил еще одну доску и сунув в карман коробок со спичками и гвоздь, полез в ящик под автомобиль.

Здесь было душно и пыльно. Проползя аршина полтора, я дотронулся рукой до чего-то мягкого. И сейчас кто-то сильно укусил меня в руку, я отдернул ее, и весь ящик наполнился писком и шумом. Меня одновременно укусили в шею и в бок. Перепуганный, я вылез из ящика, зажег пучок соломы и сунул его в отверстие. Ящик был полон крыс и крысят. Шины автомобиля были совершенно изгрызены ими.

Солома потухла. Я взял сковородку, просунул ее в отверстие и принялся избивать ею этих отвратительных животных. Крысы целой толпой хлынули из отверстия. Одна из них попала в рукав моего пиджака и вынудила меня на минуту выпустить сковородку.

Наконец, все затихло, ящик был пуст. Я положил сковородку и снова пустился в свое путешествие. На этот раз я благополучно добрался до

противоположной стенки. Только два злополучных крысенка, не сумевших выбраться из ящика, пискнули подо мной и замолкли.

Я вынул из кармана гвоздь и ударил им по стенке ящика. Звук получился глухой и неопределенный. Это вселило в меня надежду. Я ощупал стенку и вдруг нашел отверстие величиной с кулак, прогрызенное, должно быть, крысами. Я просунул в него руку — пусто! Проломать эту стенку, и я — на свободе!

Я с остервенением принялся за работу. Темнота мешала мне, и я окровавил себе руки. От крысиного укуса ныла шея. Но мой гвоздь бешено крошил доски. Отверстие все росло и росло. Вот я просунул в него голову и плечи, вот я протащил в него туловище.



Я принялся избивать крыс...

Я встал на ноги и чиркнул спичкой. Тьма раступилась. В обе стороны от меня простирался коридор, шириной не больше аршина, заключенный между двумя рядами ящичков.

Я постоял и пошел налево, время от времени чиркая спичкой. Воздух здесь был еще более затхлый, чем у меня в каморке. Крысы выскакивали у меня из-под ног. Шагов через восемь коридор стал суживаться. Наконец, я уперся в тупик.

Тогда я повернул и пошел обратно. Может быть, я найду выход в другом конце коридора. В нескольких шагах от того ящика, который вел в мою каморку, коридор круто заворачивал вправо. Я пошел дальше, беспрерывно спотыкаясь в темноте об углы неровно стоящих ящиков и спугивая бесчисленных крыс. Скорей, скорей! Впереди меня ждет свобода и встреча с отцом. Прощай, прощай навсегда, мой странный тюремщик, вешающий крыс и говорящий о музыке, мой вечно-шумящий примус, моя затхлая темная тюрьма!

Но, увы, я прощался слишком рано. Передо мной внезапно выросла дощатая стена. Коридор был замкнут с обеих сторон.

Все погибло! Я судорожно боролся с отчаянием. Нужно заставить себя успокоиться и обдумать свое положение. Шея, укушенная крысой, сильно болела. Теплые слезы текли по моим щекам. Я сел на выступ одного из ящиков и попробовал собраться с мыслями. Еще не все потеряно. Коридор велик. Я плохо осмотрел его. В нем может оказаться какая-нибудь щель. Может быть люк, ведущий на палубу. Да кроме того ящики мне тоже не преграда. Если мне удалось пролезть через один ящик, я пролезу и через другой. Придется, к сожалению, отложить свои дальнейшие поиски выхода на завтра. Сейчас уже, должно быть, шестой час? Часа через полтора вернется Шмербиус. Надо убрать в комнате и заложить чем-нибудь разбитые ящики. А то он откроет мои проделки, отнимет гвоздь и станет следить за мной.

Я встал и понуро побрел назад, к ящику, ведущему в мою тюрьму. Не успел я отойти несколько шагов, как услышал за собой какой-то

звук, похожий на тихий вздох. Я остановился. Все тихо. Должно быть, это мне показалось. Я пошел дальше. За поворотом коридора я увидел слабый свет. Это свет моего примуса проникал сюда через пробитый ящик.

Но вот звук повторился. На этот раз я услышал его совершенно ясно. Это был не вздох, а скорее стон. Я остановился. Звук раздался еще раз. — Кто здесь? — спросил я.

Позади меня, — казалось, довольно далеко, — раздавался тихий заглушенный плач, сопровождаемый стонами.

Я повернулся и побежал назад. У меня не было времени зажечь спички, и я несколько раз падал в темноте. Наконец, я остановился у стены, которой оканчивался коридор. Из-за нее раздавался отчетливый плач.

Я чиркнул спичкой и осветил стену. Она была небрежно сколочена из неслишком плотно прилегающих друг к другу сосновых досок. Между ними кой-где зияли черные щели.

Я воткнул в одну из них пальцы и потянул доску к себе. Доска отскочила. Я неступленно продолжал свою работу. Через пять минут отверстие в стене было настолько широко, что я мог влезть в него. Еще полминуты, и я очутился по другую сторону стены.

Плач прекратился. Я чиркнул спичкой и сразу же увидел стоящую на полу свечу. Я зажег свечу и огляделся.

Я находился в маленьком четырехугольном чулане. Потолок был так низок, что я касался его головой. Пол был покрыт толстым слоем грязных опилок, окон не было. В стене, находящейся

против той, через которую я проник, была запертая деревянная дверь. В углу стоял огромный контрабас.

Рядом с контрабасом, уткнувшись лицом в опилки, лежала белокурая девушка в побуревшем от грязи розовом шелковом платье. Плечи ее, покрытые волной желтых, как солома, распущенных волос, вздрагивали. Она, казалось, старалась сдержать рыдания.

— Кто вы?—спросил я.

Она не ответила. Даже не шевельнулась.

— Может быть, я могу вам помочь?

Но она, не оборачиваясь, замахала на меня рукой и что-то сказала на непонятном языке.

«Она, должно быть, говорит по-английски»,— подумал я и заговорил с ней по-английски.

— Если вам нужна помощь, я попробую помочь вам.

Она удивленно взглянула на меня. Ее заплаканное лицо было усыпано опилками. Опилки висели на бровях и ресницах, скопились в уголках рта, бежали двумя дорожками по щекам. Она попробовала стереть опилки рукавом, но только еще больше размазала их по лицу.

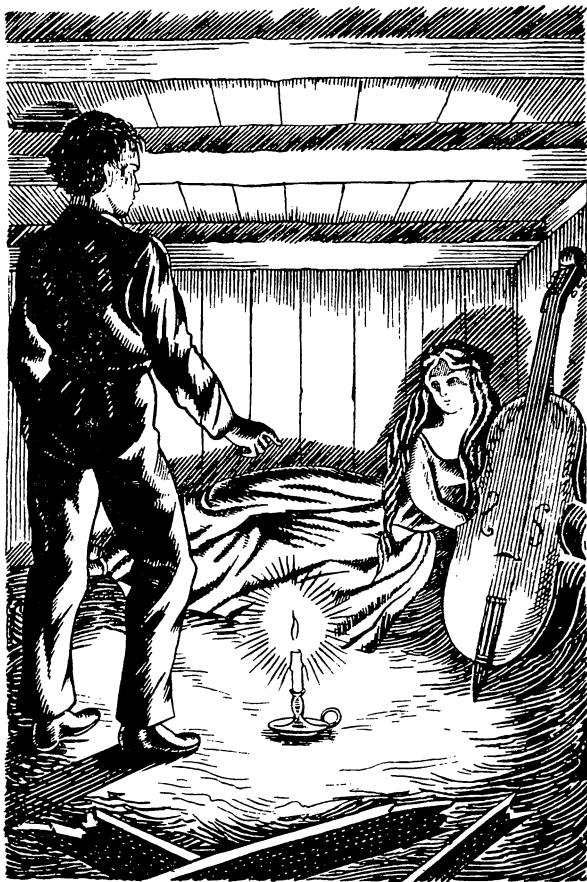
— Кто вы такой?—спросил она по-английски. Голос ее, грудной и мягкий, был в то же время звонок и звучен.

— Я? Меня зовут Ипполит. Я — русский. Мой отец на этом корабле.

— Вы Ипполит Павелецкий?—спросила она.

— Откуда вы меня знаете?

— Я много слышала о вас. И о вашем отце много слышала. Говорят, мы вместе с вами играли в детстве. Но я вас не помню. Я была тогда



Рядом с контрабасом лежала девушка.

совсем маленькой. Мой отец — старый друг вашего отца. Его зовут дон Гонзалес Ромеро. Он владелец этого корабля.

— Ваш отец — толстый... в сером костюме?

— Да. Где вы его видели? Пойдите и скажите ему, что я жива. Пусть он убьет сеньора Шмербиуса и освободит меня.

— Как? Вы тоже в плену у Шмербиуса?

— Да. Вот уже несколько месяцев он держит меня здесь взаперти. Каждое утро он проводит здесь два часа и заставляет меня петь. Он говорит, что повезет меня куда-то на какой-то остров и сделает актрисой в театре. Но мне не надо ни его острова, ни его театра. Я хочу к папе. Папа повезет меня домой в Боливию, в наш тихий райчо. Освободите меня. Ваш отец был другом моего отца. Если бы он знал, где я, он велел бы вам освободить меня.

Она заплакала. Крупные слезы потекли по ее бледным матовым щекам и закапали на солому. Мне было безумно жаль ее. Я сел рядом с ней и взял ее за руку.

— Увы, — сказал я, — я такой же пленник, как и вы. Я посажен в такой же чулан, и сторожит меня тот же Шмербиус.

И я рассказал ей свою историю. Она молча выслушала ее и подвела на меня свои большие серьезные глаза.

— Теперь у меня есть союзник, — сказала она. — Правда, он такой же пленник, как и я, но вместе нам легче будет добиться свободы.

Тут она рассказала мне свою повесть. Я узнал много нового из этой повести и слушал с величайшим вниманием. Я привожу ее, чтобы читатель

мог ясно видеть, какие странные события заставили нас встретиться здесь, в этом чулане неизвестно куда плывущего корабля.

Отец этой девушки, дон Гонзалес Ромеро, сказал ей однажды, что он едет куда-то на поиски каких-то сокровищ, и предложил ей сопровождать его. Она согласилась, хотя ей грустно было покидать свою прекрасную родную Боливию. Взяв с собой управляющего их ранчо, негра Джамбо, которого они любили, как родного, они приехали в Вальпарайзо. Там дон Гонзалес купил парусный бриг «Santa Maria». Он собирался заехать в Россию за своим старым другом сеньором Павелецким, чтобы вместе искать сокровища. Благополучно проехав Панамский канал и оставив за собой острова Вест-Индии, «Santa Maria» спокойно неслась на северо-восток по волнам Атлантического океана. Погода ей благоприятствовала. Ветер тоже. Стояли чудные лунные ночи.

Мария-Изабелла, моя прелестная креолка, в одну из таких ночей вышла погулять на палубу. Все спали. На вахте стоял один из матросов, по имени Хуан. Он находился на самом дальнем конце палубы и не заметил ее появления. Девушка легла на дно стоявшей на палубе шлюпки и стала смотреть на звезды. И вдруг неподалеку она услышала шопот. Говорили по-английски. Она сразу сообразила, что говорят трое. Один голос принадлежал Хуану, а другой Баумеру, огромному рыжему немцу, служившему боцманом на «Santa Maria». Третий голос она слышала впервые. Это был неприятный визгливый тенорок.

— Надо бы поскорее, — басом говорил Баумер. — Побросаем всех за борт и угоним судно.

— Не торопитесь, дорогой, не торопитесь, — говорил тенор. — У меня есть точнейшие инструкции. Это дело первостепенной важности. Мы овладеем судном не раньше, чем выйдем из России.



В воду!

— Наплевать нам на ваши инструкции, — заговорил Хуан, — не желаю я торчать по шесть часов в сутки на вахте. Давно пора бы всех в воду!

— Дон Гонзалес не утонет; сало плавает, — с хохотом сказал немец.

— Зато акулы обрадуются, — заметил Хуан и тоже захохотал.

— Тише! Здесь кто-то есть, — сказал третий.

Мария-Изабелла вскочила на ноги:

— Разбойники! — закричала она. — Да как вы смеете!

Огромная ладонь Баумера зажала ей рот.

— В воду! — сказал Хуан — Она всех выдаст.

Сильные руки Хуана и немца подняли ее и потащили к перилам.

— Стойте! — закричал их товарищ. — Оставьте сеньориту! Она артистка. Талант! Бесподобный голос! Отдайте ее мне. Я ее спрячу. А завтра скажете, что она упала за борт.

— И вот, с тех пор, я живу здесь, в этом чулане, — закончила свой рассказ девушка.

Так вот кто она, эта „испанская певица“! А я-то думал, что она соучастница Шмербиуса! Она такая же его рабыня, как и я.

Совершенно потрясенный ее горем и всем, что узнал, я попрощался с ней и ушел, заколотив за собой дырку в стене досками.

„Только бы не опоздать, — думал я. — „Если Шмербиус вернется до моего возвращения, я погиб. Нет, вернее, мы погибли, потому что теперь моя судьба крепко связана с судьбой этой девушки. Если семь часов уже пробило, нам больше никогда не выйти на свободу“.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Б у н т.

Все мои худшие опасения оправдались. Едва я просунул голову в отверстие ящика, как цепкие холодные пальцы Шмербиуса схватили меня за волосы и выволокли на середину каморки.

Все пропало! Он вернулся раньше меня! Теперь он меня избьет, а то, может быть, и повесит рядом с крысами. Я решил дорого продать свою жизнь, мотнул головой, вырвался и укусил его за палец.

В ту же секунду ловкий удар сбил меня с ног.

—Ха-ха-ха! вот так мальчишка!—вдруг необычно весело и добродушно заорал он.—Тигревок!



Шербнус вытащил меня за волосы..

Весь в отца! Если дать вам надлежащее воспитание, из вас выйдет толк. Я этим займусь, чорт возьми! Вот это мне нравится! Разбил два ящика и пролез под автомобилем. И долго вы плутали по трюму?

„Значит, он не догадывается, что я был у нее“, — подумал я и ничего не ответил.

— Не хотите отвечать на этот вопрос? Сделайте одолжение, не отвечайте. Я человек нелюбопытный, да-с! Ну, и ловко же, вот насмешил, ха-ха-ха!

Вообще, на этот раз он был весел необычайно.

Все время похихикивал, беспрестанно потирал руки и многозначительно подмигивал сам себе правым глазом. Раз сорок возбужденно пробежавшись из угла в угол, он, наконец, принялся торопливо готовить яичницу.

Я чувствовал зверский голод и, преодолев свою брезгливость, ел вместе с ним. Поев, он, к моему величайшему удивлению, даже не взглянул на крысоловку, в которой сидела седая жирная крыса. Вытерев губы обеими рукавами своего фрака, он растянулся на соломе.

— Теперь спать — сказал он. — Ночью нам придется поработать. К сожалению, через четыре часа я принужден буду вас разбудить, вы мне поможете. О, пустяки! Ничего трудного. Вам будет полезно познакомиться с этим делом. Оно имеет огромное воспитательное значение.

У меня сильно побаливала шея, укушенная крысой. Я лег на спину и стал думать о золото-волосой девушке, запертой в чулане. Какая она милая и красивая! Мне было жалко ее. О, поганый плешивый тиран! Как ты смел бросить ее в пыльный вонючий трюм. Мне противен и твой фрак, и твоя яичница, и твой контрабас.

Но тут мысли мои стали путаться, и я заснул. Происшествия дня изрядно меня утомили.

Проснулся я от прикосновения холодной руки моего тюремщика.

— Уже утро? — спросил я.

— Нет. Час ночи. Вставайте. Надо идти.

Он был как-то особенно торжествен. Я неохотно поднялся. Сон томил меня, и глаза сами закрывались. Он протянул мне стакан чаю.

— Выпейте. Это вас подкрепит.

Через минуту он вскарабкался на крысиную планку и открыл люк. Крупные звезды засияли у меня над головой. На щеках я почувствовал легкое дуновение теплого морского ветра.

— Прошу вас, лезьте, — сказал он, взметнув рукой вверх.

Ему не пришлось дважды повторять свое приглашение.

Как вихрь я взлетел на планку и пролез через люк.

Надо мной — черное звездное небо, подо мной — шаткая досчатая палуба, по сторонам — свернутые канаты и между ними — мерноплещущее море.

Свежий воздух опьянил меня. Неужели я на свободе? Бежать! Бежать, пока эта обезьяна с головой католического монаха не вылезла из трюма. Там — отец и свобода. И я ринулся вперед.

— Стой, стой, голубчик, не убежишь, — сказал по-английски чей-то грубый голос, и могучая рука схватила меня за шиворот. Я оглянулся. Передо мной в темноте возвышались контуры огромного человека. Темнота не позволила мне рассмотреть его лицо. Он крепко держал меня за шиворот. За великаном жался среднего роста человек в странной желтой кофте и светлых полосатых брюках. Подмышкой он держал три ружья с обрезанными дулами. Их металлические части тускло сверкали при свете звезд.

— Поймал-таки! — стараясь умерить свой зычный голос, сказал великан, обращаясь к вылезшему из люка Шмербиусу.

— Ах вы, шалун! — сказал Шмербиус и ласково потрепал меня за ухо. — Ну, сведите его

на пост и дайте ему ружье, да смотрите, чтобы не сбежал. Я уйду. До скорого...

Он низко поклонился, взметнул фалдами и исчез в темноте.

Пост находился тут же, между канатами. Мне дали ружье и велели лечь на пол. Оба мои сторожа легли тут же вплотную рядом со мной и не спускали с меня глаз. Темнота мешала мне видеть что-либо, кроме куска звездного неба.

Дул несильный теплый ветер. Корабль мерно покачивался, но я так привык к качке, что не замечал ее. Мои соседи раз в полчаса, а то и реже, перекидывались испанской или английской фразой. Я скоро понял, что это те самые моряки, разговор которых со Шмербиусом подслушала Мария-Изабелла — боцман Баумер и матрос Хуан.

Я полной грудью вдыхал живительный морской воздух. Только теперь я понял, как душно и затхло было у меня в трюме.

Так как делать было решительно нечего, я стал рассматривать звезды. Меня поразило совершенно незнакомый и непривычный их рисунок. Ни одного известного мне созвездия я не мог найти. И вдруг я вскрикнул. Довольно высоко над горизонтом сияло яркое созвездие, имеющее форму креста! Значит, мы находимся в южном полушарии.

Из редких фраз, которыми обменивались между собой оба моряка, я ничего существенного не узнал. Им страшно хотелось курить, но они боялись, что огоньки трубок выдадут их. В этом и заключалась единственная тема их перешептываний.

Так шли часы за часами. Теплая южная ночь торжественно текла над океаном, ровный ветер

с легкостью нес наш маленький кораблик по безбрежному водному пространству. И на этом крохотном кораблике, заключенном в величественную оправу из ночи и воды, несколько человек, оторванных от всего мира, интриговали, устраивали заговоры, насильничали. И я думал о том, как величава и мудра природа, и как ничтожен и низмен человек.

Наконец, начало светать. Заря занялась перед нами, с левого борта. Я сообразил, что мы идем на юго-юго-восток. Сквозь сумерки я увидел перед собой длинную досчатую палубу и в конце ее одинокую человеческую фигуру. Это вахтенный.

Внезапно зазвонил колокол. Растерянный и тревожный звон!

— Стреляй! — прошептал мне Баумер.

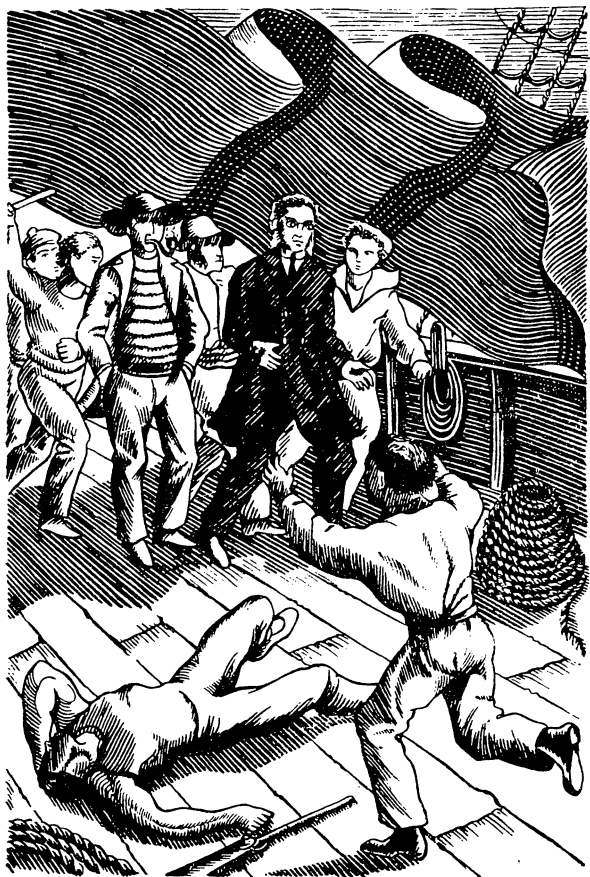
— Стреляй! — повторил Хуан.

Я растерянно оглянулся. В кого стрелять? Куда? Зачем?

Но Баумер не дал мне долго раздумывать. Он взмахнул рукой и занес над моей спиной нож. Я нажал курок и выстрелил в воздух. Сейчас же грянуло еще две выстрела. Человек, стоявший в конце палубы, взмахнул руками. Одну секунду он был похож на собирающуюся лететь птицу. Затем закачался и тяжело упал.

И сейчас же „Santa Maria“ наполнилась гулом и криками.

Полуодетые люди, вооруженные чем попало, выбежали на палубу. Несколько секунд они не видели нас и растерянно переглядывались. Кой-кто бросился к упавшему вахтенному. Тогда Баумер и Хуан поднялись во весь рост и, держа ружья наготове, вызывающе смотрели на команду



Огромный брезент взметнулся над палубой.

судна. Те всей толпой стали приближаться к нам. Впереди их шел высокий, толстый седоватый человек и рядом с ним мой отец.

Я взмахнул ружьем и ударил немца прикладом по голове. Он как куль грохнулся на пол.

— Папа! папа! — закричал я и ринулся вперед.

Хуан бросился за мною. Вот он сейчас догонит меня. Я отпрыгнул в сторону и остановился.

Он пролетел мимо, поскользнулся и упал навзничь.

— Ипполит! — крикнул отец.

В это мгновение огромный квадратный брезент взметнулся над палубой. Его бросили с мачты. Он упал и покрыл всю эту взволнованную кучку людей. Они забарахтались под брезентом, как слепые котята. И в ту же секунду на этот живой брезент налетели люди. Они топтали его ногами и били прикладами своих коротких винтовок с обрезанными дулами. А кругом прыгал, скакал и метался Шмербиус, выкрикивая восторженные, бессмысленные фразы. Ветер рвал его фалды и швырял ему красный галстук в лицо.

Я бросился к нему.

— Аполлон Григорьевич! Да что же это такое! Остановите их!

Но в это мгновение кто-то ударил меня сзади по голове, и я потерял сознание.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Допрос на палубе.

— Если бы не ваши затеи с капскими алмазами, нас никто не посмел бы тронуть. А к чему все это привело? Потеряли „Кровь и Жемчуг“,

лучший линейный корабль и ничего не добились. Нет, по старому было лучше.

— Э, голубчик, разрешите мне попросить вас помолчать! Как свободный член нашей вольнолюбивой ассоциации, вы можете поговорить об этом через восемь месяцев на площади перед Оперой во время перевыборов атамана.

— Говорите, что хотите, я вас нисколько не боюсь.



Толстые веревки связывали меня...

— Именем Ли-Дзень-Сяня, атамана и повелителя, приказываю вам: молчать!

Наступила полная тишина. Я окончательно пришел в себя и раскрыл глаза. Надо мною расстилалось сияющее голубое небо. Ровно половину его заслонял от меня заплатанный парус „Santa Maria“.

Голова моя была тяжела, как свинец. Все тело ныло. Я попробовал шевельнуться и не мог. Толстые веревки связывали меня по рукам и по ногам.

Я скосил глаза и увидел Шмербиуса и Баумера. Рыжая голова немца была забинтована полотенцем,

на котором виднелись пятна запекшейся крови. Он исподлобья смотрел на Шмербиуса. Я вспомнил, как огрел этого великана прикладом по голове, и улыбнулся. Шмербиус же стоял, скрестив свои длинные руки на впалой груди, и задумчиво смотрел вдаль. Его красный галстук развевался по ветру.

Немец подошел ко мне и заглянул мне в лицо.

— погоди, наглотаешься ты сегодня воды, — сказал он и ткнул меня сапогом в бок. Он был зол на меня за то, что я его ударил по голове, а, кроме того, разговор со Шмербиусом привел его в северное настроение.

Мне было больно, но я сжал зубы и не издал ни звука. Если мне суждено сегодня умереть, я умру, как подобает герою. Немец выругался и отошел.

Я попробовал повернуть голову и посмотреть, что творится на палубе. Сделать это было трудно, потому что место на шее, в которое укусила меня крыса, гноилось и распухло. Но, преодолев боль, я все-таки повернул голову на бок. Шагах в тридцати от меня лежало пять человек, связанных так же, как и я. Только один из них был мне знаком — негр Джамбо. Ни донна Гонзалеса, ни отца между ними не было. По палубе то и дело проходили Баумер, Хуан и еще два-три метиса, занятые обычной работой моряков.

Солнце подымалось все выше и выше. Становилось жарко. Мне хотелось пить. Голова до того болела, что мне казалось, будто по ней едет трактор с раскаленными до красна колесами. От времени до времени я впадал в полузабытье. Помню только, что старательно и с большим трудом воз-

держивался от стонов. Какое-то странное ожесточение заставляло меня не разжимать рта. Мне казалось, что мой стон будет равносильен сдаче. А я скорее умру, чем сдамся. Я лежал на спине, сжав зубы, и смотрел в раскаленное небо, пока глаза мои сами не закрылись и мысли не спутались. Я терял сознание. Затем снова приходил в себя.

Вдруг я услышал резкий голос Шмербиуса:

— Приведите их обоих сюда, пожалуйста! — кричал он. Несмотря на „пожалуйста“, голос его звучал повелительно. Сразу чувствовалось, что он был здесь начальником и притом начальником строгим. Я даже не повернул головы. Лишь бы только не закричать, а там — все равно.

Минут через пять заскрипели доски. Палуба наполнилась народом. Раздался тихий, спокойный и, казалось, безразличный голос отца.

— Ты победил, Аполлон, — сказал он. — Мы снова в твоей власти. Чтож, я, пожалуй, рад этому. Я — старик, и былые страсти уже не волнуют меня.

— А ведь забавно, дорогой друг, — заговорил Шмербиус, — десять лет я гонялся за тобой. Из Нанкина ты поехал во Владивосток, из Владивостока в Москву, из Москвы в Ташкент. В Ташкенте ты превратился в путешествующего английского майора и уехал в Лондон. Я гнался за тобой по пятам, да-с. Но в Лондоне я тебя потерял. Через год оказалось, что ты под видом инженера живешь в Румынии и добываешь нефть.

— Я встретил тебя на улице в Бухаресте и уехал в Гамбург, — сказал отец.

— Со следующим поездом я поехал за тобой. Там я тебя не нашел и решил, что ты уехал в Америку.

— Я переоделся странствующим грузинским князем и отправился сначала в Берлин, потом в Тифлис и, наконец, в Ленинград.

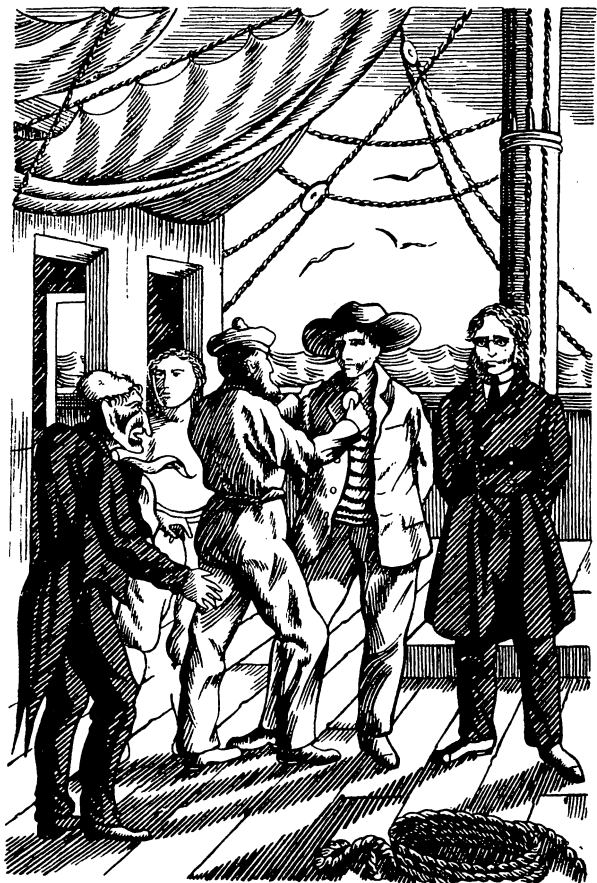
— Я поехал искать тебя в Америку. Тебя я не нашел, но зато попал на след дона Гонзалеса... Дон Гонзалес,—обратился он по-английски к креолу,—будьте любезны, укажите, где находится хранящаяся у вас часть документа.

— О, несчастный палач, жалкий плешивый шут! Вы думаете, я не отдам вам вашего документа? Вы думаете, что вам придется пытать меня, поливать меня горящим спиртом, совать мне под ногти булавки, колесовать, четвертовать меня? Нет, я не доставлю вам этого удовольствия.

— При чем здесь пытки? — глубокомысленно заметил Шмербиус. — Я пыток не признаю. Пытки — это остаток варварства. Я, даже вешая крыс, стараюсь не причинить им боли. В руках цивилизации есть другие средства, более гуманные и более совершенные.

— Знаю я. ваши цивилизованные средства, — спокойно продолжал дон Гонзалес. — Их зовут: обман, плутовство, вымогательство. Вы не только палач, но и шулер. Но и шулерство не пригодится вам на этот раз. Я вам просто отдам документ. Теперь, когда дочь моя погибла, мне не для кого жить. Я не боюсь ни смерти, ни пыток, ни обмана. Богатство мне больше не нужно. Моя часть документа при мне. Руки мои связаны, и я не могу его дать вам. Документ находится в ладонке у меня на груди. Расстегните мне ворот рубашки.

— Баумер, — сказал Шмербиус, — если вам не трудно, будьте любезны, доставьте ладонку. Зачем



„Баумер, достаньте ладонку“...

же так грубо? Вы можете сделать дону Гонзалесу больно. Да, вот он, конец этого документа! Узнаю почерк славного Томаса Коллинса. Отважный он был человек. Здесь указана широта, а долготы нету. Долгота указана в твоей части документа, Геннадий. Скажи мне, старый друг, где она?

— В моей каюте, в портфеле, — бесстрашно ответил отец.

„Что он говорит?“ — пронеслось в моем мозгу. — „Он не знает, у него в портфеле нет этого документа. Документ у меня в кармане, в конверте, вместе со сторублевкой“.

— Благодарю вас за честные показания, господа, — торжественно сказал Шмербиус. — Постараюсь облегчить вашу участь. Прощай, Геннадий. Прощайте, дон Гонзалес. Хуан, будьте добры, отведите их и принесите портфель из каюты сеньора Павелецкого. Вот видите, Баумер, капские алмазы совсем не такое уж бесполезное предприятие.

— А что делать с этими, лежащими на палубе? — угрюмо спросил Баумер.

— Запереть в трюме, — сказал Шмербиус. — да смотрите, кормите их получше.

— Как хотите, а этого мальчишку я утоплю, — сказал немец и решительно направился ко мне.

Я не почувствовал ни малейшего страха. Я был так слаб, что у меня не хватало душевных сил на то, чтобы испугаться. Смерть избавит меня от мучительной головной боли. Только бы не кричать, а там пускай делают со мной, что хотят.

— Ах, Баумер, как вам не стыдно, — заговорил Шмербиус, подходя ко мне. — Мстительность —

низкое чувство. Это отважный благородный мальчик. Как он похож на отца! При правильном воспитании он станет славным моряком и добрым джентльмэном удачи. Что с вами, Ипполит? Вы больны?

Его холодная, влажная, костлявая рука коснулась моего лба.

— Бедный мальчик! — продолжал он. — Какой жар! Он болен! Развяжите его и снесите ко мне в каюту!

Что было дальше — я не помню.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Я болен. — Шквал.

Тридцать дней продолжалась моя болезнь. Жар не оставлял меня ни на секунду. Целый месяц я находился в забытьи. Смутно помню постоянное ощущение тошноты и головной боли. Неясно встает в моей памяти шипящий шопот Шмербиуса, переменяющего у меня на голове мокрую тряпку. Вот он стоит и задумчиво глядит на меня, шепча себе что-то под нос, гладит меня холодной ладонью по щеке, подымает мне голову и вливает в рот какую-то микстуру, горечь которой я до сих пор чувствую на языке. Потом встает и уходит на цыпочках, затворив за собою дверь. И я чувствую, что обрываюсь в пропасть и лечу вниз, вниз, вниз, так что замирает сердце, и не хватает дыхания. А там, внизу, меня подхватывают волны мягкой, густой, зеленоватой воды и долго, долго качают. И на волнах качается девушка с золотыми воло-

сами, вся неясная, зыбкая и просвечивающая насквозь. Это Мария-Изабелла, дочь дона Гонзалеса. Она печально смотрит на меня, хочет что-то сказать и не может. И вот волосы ее темнеют, и это уже не Мария-Изабелла, а та женщина, которую я видел на карточке у отца в кабинете.

— Мама!— говорю я,— помоги мне...

Но она не слышит меня и сливается с зелеными плавными волнами. И дальше нет ничего, полная пустота и забвение.

Наконец, на тридцатый день я очнулся окончательно. Яркий вечерний свет лился в окошечко каюты. В этом столбе червонного света дрожали и колыхались тысячи пылинок. Стаканы и жестянки из под консервов, стоявшие на столе, казалось, были сделаны из потемневшего золота. На стенах сияли солнечные зайчики, которые прыгали, дробились и множились от каждого движения судна.

Я чувствовал себя легко, бездумно и свободно. Тот бредовый хаос, в котором я жил последний месяц, окончательно оставил меня. А на его место еще не пришло ничего. Радость освобождения и очищения владела мною. Я с бессмысленным восторгом смотрел, как плавали пылинки, как живой, ласковый столб света переходил с предмета на предмет, тушил одни стаканы и зажигал другие. Вот он незаметно, но упорно приближается к большому граненому графину, стоящему на краю столика. Все ближе, ближе, ближе. И вдруг—одно мгновение,—и графин вспыхивает сразу семью цветами.

В ту же минуту отворилась дверь, и в каюту вошел Шмербиус. И увидев его узкоплечую су-

тулую фигуру, я сразу вспомнил все. Ко мне возвратились любовь, любопытство и ненависть... Любовь к отцу и любопытство ко всему, что меня окружало. И ненависть... К кому ненависть? Да разве я ненавижу этого сутулого, подвижного.



В каяту вошел Шмербус.

некрасивого человека? Я знаю, что я должен его ненавидеть. Он враг моего отца, он враг Марии-Изабеллы, он мой враг. Но разве можно ненавидеть человека, который так простодушно увлекается музыкой и кладет компрессы на голову больного мальчика? Да, он мой враг, все силы мои уйдут на борьбу с ним, но ненавидеть я его не могу. Впрочем, прошу читателя не придавать особенно большого значения этому размышлению, по-

тому что тогда я только что вышел победителем из тяжелой борьбы со смертью и был совсем не расположен к ненависти.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он, и углы его узкого рта потянулись к оттопыренным, заостренным кверху ушам. — Я ужасно рад, что вы пришли в себя. Теперь вам надо спокойствие, спокойствие и спокойствие. Морской воздух вас скоро укрепит. В море душа приходит в равновесие, нервы крепнут, мысли ясеют. Если бы знали, сколько я написал за этот месяц! Кроме того, я каждый день два часа аккомпанирую моей певице. Ах, какое это наслаждение! Талант ее растет и крепнет. У нее мягкий и в то же время сильный голос. Она будет лучшей певицей моей оперы.

— Что стало с моим отцом? — спросил я.

— О, он жив. Спрашивал о вас. Я не хотел его тревожить и ничего не говорил о вашей болезни. Замечательный он человек. Удивительной силы воли. Если чего-нибудь не захочет сказать — ни за что не скажет. Будет упорно утверждать какую-нибудь очевидную нелепость, а правды от него и пытками не добьешься. Кстати, не знаете ли вы случайно, что держит ваш отец у себя в портфеле?

— Откуда же мне знать? Должно быть, какие-нибудь важные бумаги.

— Действительно, откуда вам знать? Но, представьте, ни одной важной бумаги в его портфеле не оказалось. Хламу сколько угодно. И письма, и удостоверения, и фотографии. А важной бумаги нет. Недоумеваю, — задумчиво прибавил он. — Ведь не мог же он ее потерять!

Здоровье мое медленно, но верно поправлялось. Шмербиус заботился обо мне, как о родном. Кормил меня с ложки манной кашей, заставлял принимать лекарство и даже читал мне вслух „Путешествие Свена Гэдина по Центральной Азии“. Ему самому приходилось бывать в Монголии, и он много рассказывал об этой пустынной и дикой стране. Меня порою смущали его веряшливость и нечистоплотность, но, к стыду своему, я должен признаться, что мало-помалу стал к ним привыкать. Хотя, впрочем, совсем привыкнуть никогда не мог.

Дня через три он вынес меня на руках, закутанного в одеяло, на палубу и посадил в специально приготовленное кресло. Я был еще так слаб, что не мог читать, и потому сидел весь день неподвижно в тени мачты и смотрел вдаль, в море.



Я сидел на палубе...

За время моей болезни на нашем бриге произошли кое-какие изменения. Во-первых, он назывался теперь не „Santa Maria“ а „Batavia“. Во-вторых, чилийский флаг был заменен голландским. Курс наш тоже отчасти изменился. Мы теперь шли на юго-восток, а не на юго-юго-восток, как раньше. Судном командовал Шмербиус. Весь день он хлопотливо метался по палубе, вникая в каждую мелочь. Бодман Баумер, пятеро матросов-метисов и негритенок-юнга беспрекословно

исполняли все его приказания. Я удивлялся его умению совмещать вежливость с требовательностью, обыденное с причудливым. Не думаю, чтобы его подчиненные любили его. Особенно Баумер. Этот колоссального роста рыжий немец постоянно ворчал, глядя ему вслед. Но послушаться его не смел. Самые необычайные и вередко нелепые свои требования Шмербиус заявлял так корректно, что грубый немец не мог ни к чему прицепиться. Это еще больше озлобляло его. Меня он глубоко невзлюбил, во-первых, за то, что я ударил его по голове, а во-вторых, за то, что я состоял под особым покровительством Шмербиуса. Но открыто выражать свои чувства он не осмеливался. Только хмурился на меня из-подлобья и вполголоса ругался по-немецки, твердо убежденный, что я не знаю его родного языка. Он был зол, но глуповат, и метисы, недолюбливавшие его, нередко посмеивались над его пышной огненной шевелурой.

С каждым днем моя страсть к морю закипала во мне все сильнее. В мироздании нет ничего величественнее моря. Разве только небо может соперничать с ним. Вот оно необозримо простирается вокруг меня, ежечасно меняя свою окраску. Я сижу на крохотной палубе крохотного кораблика и смотрю, как оно, голубовато-серебряное, розовеет, наливаются кровью, становится пунцовым, потом червонным и, наконец, черным. И когда оно начинает вплетать голубые звезды в торонливые золотые фосфорические нити, цепкие руки Шмербиуса обхватывают меня и несут на мягкую койку в каюту. И я мгновенно засыпаю, чтобы следующий день снова провести на палубе, глядя в морскую даль.

Погода все время стояла ясная и ровная. Ветер дул попутный, но слабый, и разбойникам, завладевшим бригом, стало надоедать бесконечно затянувшееся путешествие. Куда мы едем, я не знал. На все мои расспросы Шмербиус отвечал: — Не торопитесь. Увидите. Там вам будет хорошо.

Так текла наша жизнь первые две недели после моего выздоровления. Я с нетерпением ждал того времени, когда настолько окрепну, что смогу ходить. Тогда я попробую войти в сношения с заключенными в трюме. Судьба отца меня очень волновала. Мало ли что мог с ним сделать Шмербиус, узнав, что документа в портфеле нет! Со мной он, правда, добр, но я знаю, как он может быть жесток.

Я поправлялся медленно и ходить не мог. Встану и — кружится голова. Скорей бы уж нас привезли куда-нибудь. Там будут новые люди, а с новыми людьми откроются и новые возможности.

Но прежде нам суждено было пережить еще одно испытание.

Как-то утром, проснувшись, я увидел, что Шмербиуса уже нет в каюте. В течение целого часа я терпеливо ждал, когда он придет и даст мне поесть. После болезни у меня все время был зверский аппетит, и ждать мне было нелегко. Тем более, что в каюте было нестерпимо душно, и мне хотелось на палубу. Наконец, я не вытерпел, дотянулся до стоявшего под столом ящичка с сухарями и принялся их грызть. Поев, я еще часа три полежал на койке, проклиная Шмербиуса и духоту, от которой у меня трещала голова. Наконец, скрипнула дверь, и в каюту вошел Шмербиус.

— Погода не предвещает ничего хорошего, — сказал он, ставя передо мною чашку черного кофе. — Барометр упал до тридцати и продолжает быстро падать. Из этого никогда ничего хорошего не выходит. До сих пор море щадило эту древнюю кастрюлю, но не следует испытывать его терпение слишком долго.

Предстоящая опасность возбуждала его. Глаза его необычайно блестели. Он силился выпрямить свою сутулую спину. Как всякий экспансивный, наделенный большим воображением человек, он в минуты возбуждения начинал играть. И теперь в словах его я услышал невольную нарочитость. Он чувствовал себя морским волком.

Когда я выпил кофе, он отнес меня на палубу и посадил в мое кресло. Здесь было почти так же душно, как внизу. Я зажмурился и долго не мог открыть глаза — до того ярко и неприятен был солнечный свет. Небо, хотя совершенно чистое, было белым, а не голубым. Разморенные метисы в одних штанах молча поливали друг друга водой. И вода сейчас же просыхала на их коричневых телах. Воздух был совершенно неподвижен. Вся обширная поверхность моря казалась залитой ртутью. Было так тихо, что я отчетливо слышал, как скрипели качавшиеся шлюпки. Паруса тяжело и беспомощно повисли и были похожи на половые тряпки, которые развесили для просушки и за-были снять.

Шмербиус подошел к Баумеру.

— Посмотрите на запад, Баумер, — сказал он.

На западе сгущался туман, и от него по небу потянулись тонкие легкие облака, как щупальцы гигантского осьминога, сидящего за горизонтом.

Море тоже изменилось. Оно теперь было похоже на волнистое стекло.

— Это идет ветер, — уверенно сказал Шмербиус. — Прикажете убрать брамсели и поднять таксели.

Немец отдал все необходимые распоряжения, а Шмербиус убежал рысцой к себе в каюту. Через час он снова вышел на палубу. Его шутовское лицо на этот раз было серьезно и сумрачно. Маленькие глазки сверкали необычайным огнем.

— Барометр упал почти до двадцати восьми, — сказал он. — Я никогда еще не видел такого низкого давления. Баумер, прикажете убрать грот и зарифить марсели.

Надвигался шторм. На западе все небо было покрыто одной колоссальной черной тучей: Вся эта огромная масса с величественной быстротою неслась по небу, бросая свинцовую тень на находившуюся под ней часть океана.

— Корабль не вынесет такого напора, — мрачно сказал Баумер.

Порывистый ветер затрепал паруса. На палубу упало несколько капель дождя.

— Берегись, — закричал Баумер, — шквал идет!

И тотчас же разразилась буря. Ветер понес наш корабль, как клочок бумаги. Все море заходило черными валами с белыми гребнями пены. Волны вздымались выше мачты, и мы с ужасом глядели на эти массы воды, висящие над нашими головами. Два или три раза они обрушивались на корабль и с ревом расплескивались по палубе. Все доски палубы тряслись и трепали.

Обо мне забыли. Насквозь промокший, я стоял у мачты и смотрел на бушующее море. О, как слаб и жалок человек, как могущественна при-

рода! Правда, до поры до времени она бывает ласкова и незлобива. И человек начинает думать, что ему подвластно все. Он строит корабли, дома, мосты, аэропланы и верит, что создания его рук незыблемы. Но приходит срок, и природа терзает



Ветер понес наш корабль...

терпение. И человеческие домики, мостики, кораблики — рушатся, как щепки.

Настала ужасная ночь. Все оставались на палубе. Лучше встречать опасность лицом к лицу, чем сидеть в каюте, как в гробу, и не знать, что тебе угрожает. Кресло мое давно было унесено волнами. Я во-время успел соскочить с него и привязать себя одеялом к мачте. Каково бедным заключенным, сидящим в трюме! Темно, ящики, в беспорядке лежащие друг на друге, валяются. Они не знают, в каком положении находится корабль, и каждую минуту прощаются с жизнью. Правда,

здесь ветрено, здесь дождь льет, как из ведра, но все же здесь на воздухе лучше, чем в душном вонючем трюме. Я решил сказать об этом Шмербиусу.

Шмербиус, кружась, прыгал по палубе. Его возбуждение было прямо пропорционально интенсивности бури. Чем сильнее ветер, чем выше волны, чем хлеще ливень, тем отчаянней носился он с одного конца палубы на другой, лазил по готовым каждую минуту оборваться реям, поправлял тухнувшие фонари, спасал смываемые волнами шлюпки. Его визгливые приказания сливались с воем ветра. Наконец, он случайно подбежал ко мне. Я попросил его вывести заключенных на палубу.

— Только не сейчас, — закричал он. Он наклонился к самому моему уху, я едва слышал его слова, относимые ветром, и заглушаемые грохотом бури. — Сейчас они будут мешать. На рассвете я прикажу их вывести.

После четырех часов ночи облака немного поредели. Но буря не утихала. Среди туч появилась бледная луна. Дождь прошел. Засиял тусклый печальный рассвет. И мы увидели бесконечное пространство воды, покрытое бушующими волнами. по которым, как морская птица, несся на восток наш истребленный корабль с изорванными парусами. Он сидел в воде гораздо глубже, чем накануне. Волны то и дело обрушивались на палубу.

— Корабль совсем плох, — сказал Шмербиус Баумеру.

— Он переполнен водой, — ответил боцман.

— Мистер Шмербиус, — сказал я, — вы обещали на рассвете вывести ваших пленников на палубу.

— Пускай тонут, сказал немец и засмеялся.

— Баумер, выведите заключенных на палубу, — провизжал Шмербиус, и тот хмуро и неохотно пошел вниз.

Вдруг на востоке в сыром утреннем тумане выросло черное пятно. Оно быстро росло. Скоро я разглядел высокую гряду скал, перед которой белели буруны. Нас стремительно несло на нее. „Так вот где она, наша гибель“, подумал я.



— Это Танталэна! — закричал Шмербиус — Переменить флаг!

И сам бросился исполнять свое приказание. Он опустил трехцветный — сине-бело-красный — нидерландский флаг и поднял на его место огромное черное полотно с изображением черепа и двух скрещенных костей.

Шмербиус поднял черный флаг.

Наконец, на палубу вышел Баумер, ведя за собой дона Гонзалеса, Джамбо и четырех пленных матросов со связанными руками. Ни моего отца, ни Марии-Изабеллы между ними не было!

Баумер отвел их на корму, посадил между канатами и сам сел рядом с ними.

Но где же папа? Уж не утонул ли он? Или они пытали его и замучили до смерти? Что случилось с бедной Марией-Изабеллой?

Шмербиус был занят флагом, и мне не у кого было узнать. Я решил сам сходить на корму и



Немец перегибал меня через перила.

поговорить с доном Гонзалесом. Я встал на ноги и, шатаясь, медленно пошел по палубе. Утесы увеличивались на моих глазах. Я уже слышал гул прибоя. Нас стремительно несло на кипящие прибрежные буруны. Только бы узнать, что с отцом, а там можно и умереть.

Я забыл свою слабость и скоро добрался до кормы.

— Дон Гонзалес! — закричал я. — Где мой отец, Геннадий Павлович Павелецкий?

— Он... — начал было дон Гонзалес.

— Молчать! — заревел Баумер и ударил дону Гонзалеса ладонью по лицу.

— Как ты смеешь, мерзавец! — закричал я и кинулся на него с кулаками.

Огромная рука немца схватила меня за шиворот и потащила к перилам. Передо мной, совсем близко, выросли огромные черные скалы. Немец перегибал меня в воду. Я крепко вцепился в перила. Но немец второй рукой поднял мои ноги, я не мог удержаться и полетел вниз.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Неведомая земля.

На несколько секунд вода закрыла меня. Но вот волна схлынула, и я снова оказался на поверхности. Корабль был уже значительно впереди меня. Он летел прямо на высокий черный утес. Огромная волна снова покрыла меня с головой. Когда я во второй раз выплыл на поверхность, я увидел странную картину.

Огромный утес был повернут. Между скалами открылся длинный широкий канал. И наш корабль, стремительно увлекаемый ветром, подобно большой растрепанной серой птице, влетел прямо в него. Следующая волна помешала мне видеть, что происходило дальше. Когда она прошла, утес уже стоял на месте, и не было ни корабля, ни канала. Только волны да буруны, да скалы.

Я хорошо плавал и мог часа полтора продержаться на воде. Но теперь, после болезни, я не был уверен в своих силах. Я заметил, что волны довольно быстро несли меня к скалам и решился предаться на волю судьбы. Если мне удастся миновать этот ряд рифов, возле которых kloкотали пенистые буруны—минут через двадцать я буду у скал. А там—посмотрим!

Я лег на спину и смотрел в небо. Тучи рассеялись, и небо было ясное, как всегда. Оно даже еще больше сияло, как бы промытое дождем. Но мое спокойное созерцание продолжалось недолго. Вода вдруг завертела меня, как волчок, и куда-то стремительно понесла. Я почувствовал, что по спирали спускаюсь вниз, вглубь широкой водной воронки. Внизу бурлила и kloкотала желтоватая пена. Я несся по широким кругам так быстро, что у меня помутнело в глазах. И с каждым кругом все ниже, ниже, ниже. Каждый круг меньше предыдущего. Все ближе кипящая пена.

И вдруг над воронкой выросла громада небывало-огромной волны. Она подхватила меня и понесла на своем гребне к неподвижным, но все растущим скалам. По мере приближения к ним, волна все слабела, уменьшалась и покрывалась розовато-желтой пеной. Когда волна уже совсем ослабела,



Наш корабль влетел прямо в канал.

я почувствовал под ногами песок. Я сделал несколько шагов вперед, и мои плечи выступили из воды.

Но теперь волна потащила меня обратно. Я изо всех сил уперся ногами в песок, но она вымывала у меня из-под ног песчинку за песчинкой. Я сделал невероятное усилие, шагнул вперед и вышел на узкий песчаный пляж, окаймляющий скалы.

И сейчас же в изнеможении повалился на песок. Надо мной, громоздясь одна на другую, к небу уходили черные скалы. Передо мной простирался бушующий океан. Я лежал на узкой (не больше двух сажен) полоске песку, отделявшей подошвы скал от воды. Песок был мокрый. Он не успел высохнуть после ночного ливня. Солнце еще не проникало сюда, потому что этот берег был обращен к западу. Скалы были совершенно голые. Ни деревца, ни травы, ни мха. Я снял одежду и положил ее на песок сушиться. Усталость одолевала меня. Я уткнулся лицом в песок и заснул мертвым сном.

Проснулся я оттого, что у меня озябли ноги. Подняв голову, я увидел, что полоска песку, на которой я лежал, сузилась, стала не шире полутора—двух аршин, и ноги мои находятся в воде. Я вскочил и оделся, так как ветер успел высушить мое платье. Затем я лег параллельно берегу, у самых скал, и снова заснул.

Я проснулся во второй раз, почувствовав, что вода ласково лижет мой правый бок. Теперь море подступило к самым скалам. Полоска песку, на которой я лежал, была не шире восьми вершков. Я встал на ноги. Ветер почти совсем утих, но море продолжало бушевать попрежнему. Я понял,

что произошло. Меня принесло сюда во время отлива, а теперь начался прилив. И узкая полоска песку, служащая мне убежищем, будет через минуту залита.

Надо бежать. Я пошел вправо. Но песок все суживался, и наконец, исчез под водой. Дальше уже волны плескали прямо в подножие черных скал. Я побежал назад, но не сделал и десяти шагов, как понял, что путь мне отрезан с обеих сторон. Я был в западне.

Оставалось только одно: лезть вверх. Скалы, казалось, были неприступны. Но на один уступ, находящийся саженях в трех от уровня моря, можно было влезть. Сон укрепил меня, и я чувствовал себя довольно бодро. Через минуту я уже стоял на уступе — узкой терраске в аршин шириной — и глядел вниз. Вода залила последний остаток песчаного пляжа. Сюда на утес ей не добраться. Но не могу же я остаться жить здесь, на голом выступе скалы, под которым бушуют волны. Надо попробовать лезть выше. Может быть, мне и удастся добраться до какого-нибудь ровного места и найти людей. Не людей с «Santa Maria», — я не сомневался, что вся история с каналом идвигающимся утесом мне только почудилась, и наш корабль разбился вдребезги, — а каких-нибудь обитателей этой неведомой земли, пусть даже дикарей. Ведь жил же Миклуха-Маклай среди людоедов Новой Гвинеи!

Надо мной находился второй уступ, несколько нависавший над первым. Я стал на небольшой камень, прыгнул и ухватился за выступ руками. Ноги мои болтались в воздухе над морем. С величайшим трудом я поднялся на руках и втянул на уступ свое тело.

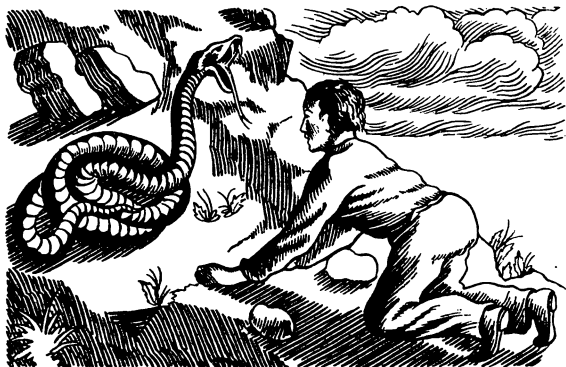
Дальше скала была уже не так отвесна. В ней зияло множество мелких трещин. Засовывая в них пальцы, я полез вверх. Но и добраться до вершины будет не так легко. Если руки мои устанут раньше, чем я доползу до самого верха, я оборвусь и съеду на животе в море. Поднявшись на две—три сажени, я оставался, отдыхал и смотрел вверх и вниз. Море становилось все дальше и дальше, а вершина скалы почти не приближалась. Но я упорно лез вверх. Через полчаса я уже избегал смотреть вниз, потому что у меня кружилась голова. Еще немного, и я понял, что сделал значительно больше половины пути. Край, отделявший скалу от неба, был совсем не так уж далек.



Я ухватился за уступ руками.

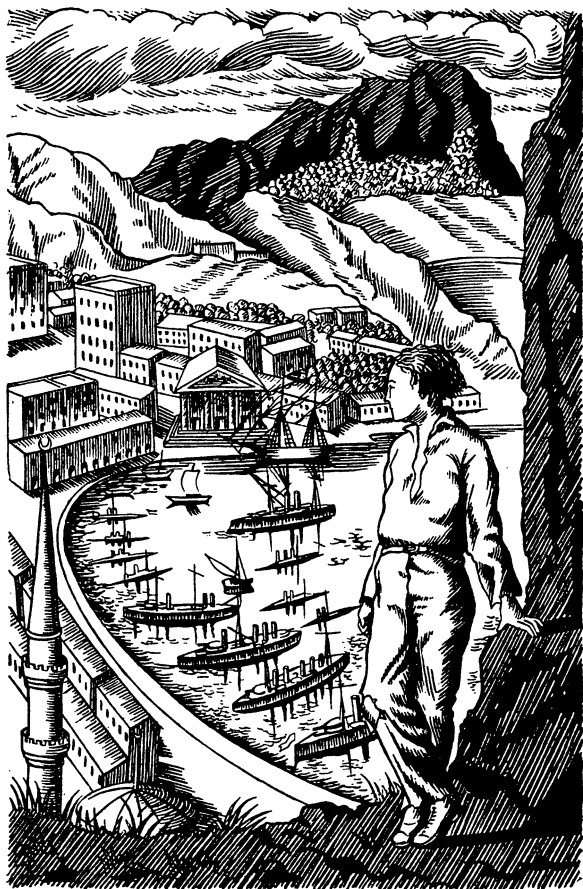
Вдруг аршинах в двух над собой на черной скале я увидел ярко-желтую полоску. Это была змея. Она, приподняв голову, неподвижно смотрела на меня крохотными черными, блестящими глазками. Я вздрогнул. Она высунула длинный, узкий раздвоенный язычок и пронзительно зашипела. Это шипение было невыносимо. Оно мурашками пробежало у меня по спине. Я не выдержал и растерянно закричал. По ее телу, от головы к хвосту,

поползли маленькие комочки. Она приблизилась ко мне. Я замер. Когда она была не дальше фута от моего лица, и мне было отчетливо видно каждое пятнышко на ее желтой коже, я схватил ее за горло так, что она не могла повернуть головы. Она раза два ударила меня по лицу своим холодным, мягким хвостом. Но я сжал ее, изо всей силы взмахнул рукой и кинул вниз, в море.



Это была змея.

Путь был свободен. Я полез дальше. То, что снизу мне казалось вершиной скалы, было в действительности только началом более пологого склона. После краткого отдыха, я снова пустился в путь. Скоро склон стал настолько пологим, что я мог встать на ноги и идти, только изредка помогая себе руками. Кое-где стали попадаться кустики жесткой травы. Ветер улегся почти совсем, солнце стояло высоко. Становилось жарко. Меня томила жажда, я нестерпимо устал. Пальцы мои были испараны до крови, брюки на коленях разорваны. Но я



Город.

почти бежал вперед, торопясь добраться до вершины этой скалистой горы.

Скат становился все более и более пологим. Все большая часть неба раскрывалась передо мною. Я уже почти бегу. Еще несколько шагов и... ах, какая удивительная панорама раскрылась передо мною!

Я увидел обширную, глубокую, долину, замкнутую со всех сторон горами. Склоны гор, обращенные внутрь, были покрыты темно-зеленым лесом. В середине долины, занимая добрую треть ее пространства, находилось спокойное озеро необычайной синевы. У того места, где я стоял, оно довольно близко подходило к горам. Но дальше—влево—берега его расходились с линией гор. Между ним и горами простирались невысокие светлозеленые холмы. И там, где эти холмы подступали к синей, как синька, воде, был расположен город.

Да, город! Трудно описать те чувства, которые обуяли меня. И радость, и страх, и удивление сразу. Как очарованный, смотрел я на белые оштукатуренные домики, на узкие прямые улочки, на большую площадь, вокруг которой стояли огромные четырехэтажные, кирпичного цвета здания, на длинную, широкую изогнутую дугой набережную.

— „А вот это, должно быть, минарет мечети“, — подумал я, глядя на высокую разноцветную башню.— „Значит, здесь живут магометане. И сколько в этом озере кораблей! Огромный флот! Дредноуты, линейные корабли, миноносцы, тральщики. И целая туча мелких парусников“.

Но ведь это нелепость! Флот на таком крохотном озере! Ведь он заперт здесь горами и не может выйти в море.

Я снова окинул взором всю долину. Нет, она со всех сторон окружена ровной полосой гор. Озеро не сообщается с океаном. В уме у меня мелькнула мысль о подвижном утесе, но я сейчас же отбросил ее. Какая чепуха! Еще не изобретены горы в полверсты вышиной, которые мог бы передвигать человек. Этот большой порт на маленьком озере просто очередная загадка. А я за последние месяцы так привык к разным тайнам и загадкам, что они перестали волновать меня.

Я принялся обдумывать свое положение. Мне очень хотелось пить и есть, и еще больше хотелось узнать что-нибудь об отце. Может быть, найдены какие-нибудь обломки „Santa Maria“ или трупы. А может быть, кому-нибудь удалось спастись так же, как и мне. Только уж, конечно, не папе. Бедный папа находился во время крушения в трюме.

Но все-таки идти прямо в город я не решался. Мало ли что меня там ждет! Я не знаю ни здешних законов, ни обычаев. Нужно раньше узнать, что за люди живут в этом городе.

И я неторопливо побрел к северу, переходя с одной вершины хребта на другую, не спуская глаз с причудливой панорамы, расстилавшейся подной.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Китайская таверна.

Хребет был всюду почти одинаковой вышины, и я без труда подвигался вперед. Солнце стояло высоко, но здесь, в вышине, было не жарко. Я

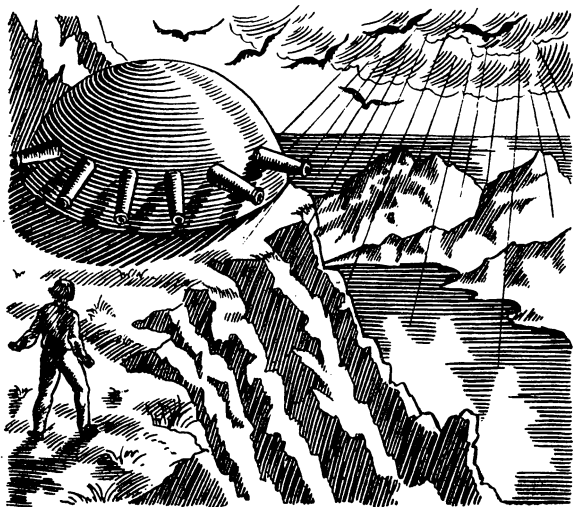
был возбужден и, несмотря на усталость, шел довольно быстро. Меня привлекала серебристая речка, которая, начинаясь у подошвы гор, пересекала северную часть города пополам и впадала в озеро. Мне хотелось добраться до ее истоков и напиться. Но она оказалась гораздо дальше, чем я предполагал. Мне пришлось идти два часа прежде, чем я увидел ее прямо под собой.

Хребет постепенно расширялся и образовал довольно широкое плато. Я больше уже не мог видеть и море, и долину одновременно. Почва становилась рыхлее, и на ней стал попадаться низкорослый колючий кустарник. Но вершины, поднимавшиеся над общим уровнем хребта, состояли из плотного потрескавшегося черного камня и были совершенно лишены растительности. Я приближался к одной из этих вершин, вздымавшейся как раз над истоками привлекавшей меня речки. Хребет постепенно подымался. Теперь за горами, тянувшимися вдоль противоположного берега озера, я мог видеть море. Я понял, что нахожусь на острове.

Вершина, к которой я приближался, поразила меня своей формой. Это был геометрически правильный шар, до половины зарытый в землю. Он, как гигантский чугунный котел, тускло блестел на солнце. Я подходил к нему все ближе и ближе. Нет, природа не может создать такие правильные формы. Сердце мое тревожно забилося.

Вдруг с этой странной вершины, пронзительно крича, слетело несколько больших птиц. И вершина стала медленно поворачиваться справа налево вокруг своей оси. Вот одна за другой выползли двенадцать гигантских пушек, прикреплен-

ных к одному из склонов этой вращающейся вершины. Они, как растопыренные пальцы, повисли над пропастью и ослепительно сверкали на солнце. Вращательное движение вершины прекратилось и все стало так же неподвижно, как прежде.



Вот одна за другой вымозжали двенадцать пушек.

Какая бесподобная крепость! Этот город воистину неприступен. Пушки могут быть направлены на любую точку горизонта. Ни один корабль не подойдет сюда, если этого не захотят жители острова.

Я решил спуститься вниз в долину, к речке. Лучше идти прямо в город, чем в крепость. В городе мне могут попасться хорошие добрые люди,

в крепости же я встречу солдат, которые повинуются дисциплине, а не велениям сердца.

Спуск был крут, но не труден. Растительность становилась все богаче, и я мог хвататься за стволы низкорослых хвойных деревьев, похожих на молодые сосенки. Вскоре я оказался в настоящем лесу. Стали попадаться лиственные деревья незнакомых мне пород. Лес становился все выше и гуще. О шипы какого то колючего кустарника я порвал рукав и поцарапал щеку. Стали попадаться стройные кокосовые пальмы. Их величавые купы одиноко уходили в небо, как бы пренебрегая ютившимися у их подножия зарослями. Бесчисленные количества птиц — синие, желтые, оранжевые — перелетали с ветки на ветку. Бабочки были величиной в носовой платок, гусеницы походили на змей. Впереди подо мной, в глубоком овраге, окруженная пальмовой рощей, бежала серебристая быстрая речка. Это был земной рай, и я жалел, что жажда и усталость мешали мне насладиться им сполна.

Идти мне пришлось долго. Скат становился все более пологим, и я скоро почти перестал замечать его. Когда я подошел к речке, солнце уже садилось. В овраге у воды было сумрачно и сыро. Пальмы, растущие по берегам, были оплетены длинными вьющимися растениями. Некоторые из них перекидывались с одного берега на другой, образуя живые мосты.

Я пил с жадностью. Несколько умерив жажду, я разделся и погрузил свое потное разгоряченное тело в прохладные струи речки. Потом вылез, пообсох, оделся и снова пил.

Утолив жажду, я прилег отдохнуть тут же у воды. Но пролежал не долго. Меня стал мучить

голод. Он до сих пор был заглушен жаждой, но теперь требовал немедленного утоления. И я решил добраться до города. Может быть, мне удастся обменять свою сторублевку на деньги этой страны. Тогда я пообедаю в каком-нибудь ресторане и переночую в гостинице. А завтра пойду искать обломки «Santa Maria» и постараюсь возможно скорее вернуться на родину.

До города было недалеко, но я еле волочил ноги, и только когда в небесах засверкали первые звезды, я подошел к крайнему домику, стоявшему на берегу реки. За этим домиком стоял другой, за тем третий и так дальше. Между домиками и рекою тянулась грязная пустынная набережная, окаймленная дощатым тротуаром.

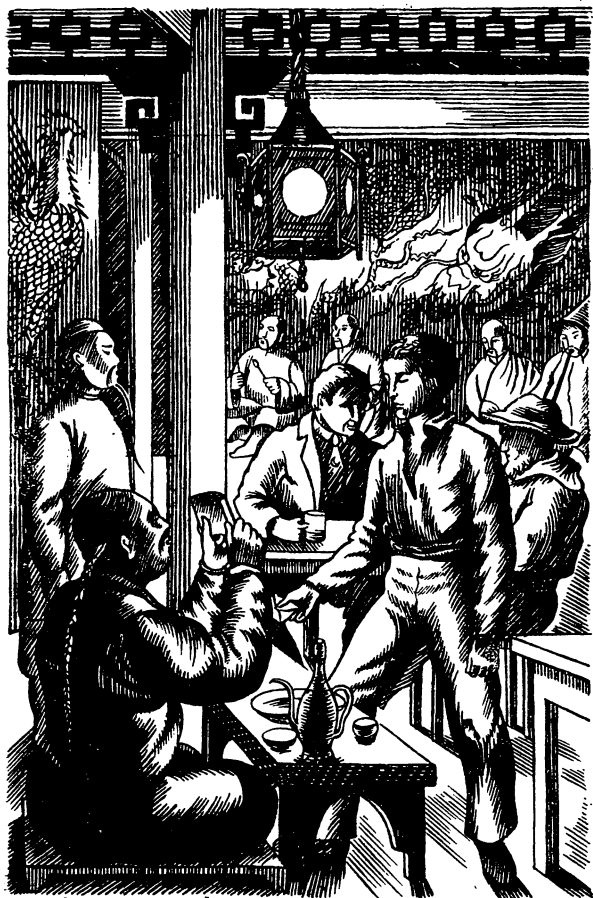
В окнах горели огоньки. Пройдя шагов сто, я наткнулся на двух совершенно голых косоглазых ребятишек. Я спросил их по-английски, нет ли здесь поблизости ресторана. Но они только бессмысленно пучили на меня глаза и молчали. Дальше мне повстречался длинноносый китаец в пестрых шароварах. Он был опоясан широким шелковым поясом, из-за которого торчали два больших пистолета и кинжал. Выше пояса он был совершенно гол. Он шел посреди улицы, спотыкался и широко размахивал руками. Я повторил ему свой вопрос, уверенный, что он его не поймет, но он не только понял, но даже послал меня к чорту на чистейшем английском языке. Я увидел, что он невменяемо пьян, оставил его и пошел дальше.

Впереди передо мной чернел контур моста, перекинутого через реку. Я побрел к нему, надеясь найти возле него поперечную улицу, которая приведет меня в центр города. Но не доходя

до моста, я увидел двухэтажный дом с ярко освещенными окнами. Перед ним на тротуаре стоял одинокий столб электрического фонаря. К столбу была привязана лошадь. При свете фонаря я увидел прибитую над дверьми большую вывеску с какими то восточными, должно быть, китайскими буквами. Над ней была прибита маленькая дощечка, на которой было выведено по-английски «Saloon and Hotel», что значит: трактир и гостиница.

«Это как раз то, что мне нужно», — подумал я, открыл дверь и вошел.

Я очутился в большой, ярко освещенной комнате. Стены и потолок ее были пестро расписаны какими то фантастическими чудовищами. Пол был устлан толстыми мягкими циновками, на которых лежало и сидело человек пятнадцать китайцев. Одни из них ели и пили, другие курили, третьи спали. Все они были вооружены кинжалами и револьверами. Слева находилась низкая широкая стойка, за которой сидел жирный китаец — такого цвета, как пятна сала на топленом молоке. В углу возле стойки стояло два обыкновенных ресторанных столика. Один из них был пуст, а за другим сидело двое европейцев. Первый европеец был огромного роста широкоплечий моряк в франтоватых брюках-клев, белой матросской рубашке и широкополой кожаной шляпе, надвинутой на лоб, второй был похож на английского промышленника из колоний — красивый человек с прямым носом и большим кадыком. Он был одет в серый пиджачный костюм. Его пышный коричневый галстук был заколот серебряной булавкой в виде подковы с собачьей головой. Они оба были пьяны,



Китаец долго рассматривал сторублевку на свет.

оба громко говорили и оба держали на коленях по ружью с обрезанным дулом.

Я нерешительно подошел к стойке и вынул из кармана конверт, в котором лежала сторублевка и половина столь необходимого Шмербиусу документа.

— Если вы разменяете мне эту бумажку, — сказал я по-английски китайцу, бросая на прилавок сторублевку, — я поужинаю у вас и переночую.

Китаец взял жирными толстыми пальцами бумажку и долго рассматривал ее на свет.

— Она немного подмокла, — наконец сказал он, — но тридцать долларов я могу вам за нее дать.

Я согласился и получил целую кучу разноплеменного серебра. Тут были и британские шестипенсовики, и индийские рупии, и мексиканские пиастры, и японские иены, и русские двугривенные, как старого, так и советского образца. Счесть их было невозможно. Очевидно, в этой стране ходили деньги всех наций.

Я сел за столик, и другой китаец, тонкий, с жидкой черной бородежкой, подал мне на глиняном блюде какое-то странное кушанье. Я не знал, что это такое, не мог даже определить мясное это блюдо, рыбное или растительное, но проглотил его моментально. Затем я спросил чаю. Мне подали фарфоровую чашку с черной ароматичной бурдой такой крепости, что когда я выпил ее, у меня сжалось сердце.

Насытившись, я стал рассматривать сидевших передо мной европейцев. Особенно меня занимал сидящий ко мне спиной великан. В нем было что-то знакомое. Эта спина, эти плечи... где я их ви-

дел? И вдруг я заметил клок огненно-красных волос, выбивающихся на затылке из-под шляпы.

Так это Баумер! Значит, «Santa Maria», может быть, и не разбилась! И мой отец, может быть, жив! Надежда увидеть отца живым наполнила радостью мое сердце. У меня в голове мелькнула даже задорная мысль — подойти к Баумеру и посмотреть, как он будет разозлен, увидев, что ему не удалось меня утопить. Но я так устал, что мне не хотелось вставать со стула. Я решил при случае указать здешним властям на этого опасного разбойника, а пока ограничился только тем, что стал прислушиваться к тому, что он говорил.

— И все же, все его затеи с капскими алмазами провалились к чорту, — сказал Баумер. — Рапорт Томаса Коллинса был разорван пополам, и ему удалось достать только конец его. А начала нет. Как он ни бился, как ни хитрил, начала рапорта ему достать не удалось. А проклятый рапорт так разорван, что долгота находится в первой его части, а пирота во второй. Вот теперь ищи алмазы по всему океану!

— Да, это сильный козырь в наших руках, — заметил англичанин. — Китайцы и так терпеть его не могут. Арабы тоже. Они уверяют, что он околдовал Ли-Дзень-Сяня.

— Послушайте, мистер Эрлстон, — заорал Баумер и так ударил кулаком по столу, что задребезжали стаканы, — Через две недели перевыборы атамана, Donnerwetter! Джентльмены удачи провалят Ли-Дзень-Сяня, а вместе с ним полетит и Шмербиус.

— Тесс! Ты пьян, Баумер, нас могут услышать, — зашептал англичанин. — Да неужели ты

думаешь, что Шмербиус боится перевыборов? Неужели он станет уважать права джентльменов удачи? А пятнадцать пушек Вращающегося Форта? А Форт Подковы? А двести пятьдесят самолетов новейшей системы? Ведь все это у него в руках. Он в пять минут может превратить город в груды развалин.

— Но ведь вы, мистер Эрлстон, член Верховного Совета. Вы можете предупредить флот и форты о его замыслах. Джентльмены удачи еще никогда не продавали своей свободы.

— На этот раз они ее продали. Всюду сидят купленные люди. Все боится Шмербиуса и исполняют малейшие его желания. Все изменники получают после переворота большие награды. Мы, члены Верховного Совета, такие же пешки в его руках, как и все остальные. Я сам подчиняюсь ему во всем. Но вот если бы удалось одно дельце...

— Какое дельце?

— Если бы мне получить место начальника Вращающегося Форта. Тогда другое дело. Тогда мы победим наверняка.

— И после победы нашим атаманом будет Джошуа Эрлстон!

— А командиром дредноута „Желтый Череп“ будет капитан Отто Баумер.

— И мы увидим Ли-Дзень-Сяня, висящего на рее.

— И Аполлона Шмербиуса, болтающегося на той же веревке. Эй, виски! Пью за эту веревку.

Глаза мои слипелись, и мысли путались. Я засыпал, не вставая со стула. Громкие пьяные выкрики моих соседей сливались в однообразный гул. Я сквозь сон видел, как Эрлстон встал, распла-

тился и, шатаясь, пошел к выходу. Загремели подковы, и я понял, что он ускакал на привязанной к фонарю лошади.

Баумер толкнул локтем бутылку, разлил виски по столу, упал лицом в лужу и заснул мертвым сном. Его ружье с обрезанным дулом упало на пол. Жирный хозяин трактира и его сухопарый слуга положили пьяного немца на циновке рядом с китайцами. Мне тоже захотелось лечь. Я встал со стула и лег на циновки вместе с тем человеком, который утром этого же дня бросил меня с палубы корабля в бушующий океан.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Погоня.

Ночью меня разбудил сухопарый китаец-слуга. Свет был потушен. Огромная бледная луна смотрела в окно, чертила на полу яркие зыбкие квадраты и чуть чуть серебрила чудовищных драконов, размалеванных по стенам. Комната была пуста. Все китайцы-посетители покинули ее. Только Баумер спал мертвецким сном, уткнувшись носом в циновку.

— Не угодно ли джентльмену покурить опиума? — спросил китаец-слуга.

Я сначала не понял, что он говорит, но когда он повторил свой вопрос, я ответил ему, что опиума не употребляю. Мой ответ очевидно показался ему обидным, потому что он весьма язвительным тоном сказал мне, что настоящие джентль-

мэны удачи опиумом не брезгают. Но я повернулся на другой бок и крепко заснул.

На этот раз я проснулся уже утром. Кричали петухи, и мне показалось, что я нахожусь дома, в Гавани, и петухи кричат соседские, в нашем дворе. Но увидев крылатых чешуйчатых драконов, со всех стен глядящих на огневую шевелюру Баумера, я вспомнил все. Немец крепко спал, раскинув ноги и руки. Его шляпа и ружье лежали под столом.

Я встал, потянулся, и сел за стол.

— Чего желает молодой джентльмэн? — ласково и лукаво спросил меня жирный китаец, перетирая за стойкой тарелки.

— Хлеба, чаю, кипятку, — ответил я.

Китаец с удивлением смотрел, как я разбавлял крепкий чайный настой кипятком. Это казалось ему бессмысленной порчей чая.

Окончив свой завтрак, я подошел к стойке. Хозяин с самой любезной миной назвал мне сумму сначала в долларах, потом в индийских рупиях, потом в фунтах стерлингов и, наконец, в иенах. За ночевку, чай и ужин он взял почти половину моего состояния. В то время, как я расплачивался, с трудом переводя свои расчеты с одной валюты на другую, Баумер проснулся, оглушительно зевнул и сел.

— Эй ты, желтомордый, — заорал он, — дай опохмелиться!

Тощий китаец с жидкой бородкой принес ему стакан виски.

Он опрокинул стакан себе в горло, с удовольствием крикнул и встал на ноги.

— Это еще что такое? — заревел он, увидев меня. — Привидение?

— Нег, мистер Баумер, я не привидение, — ответил я, бросая последнюю монету на стойку и направляясь к выходу. — Я живой Ипполит Павелецкий, которого вам не удалось утопить.

— *Donnerwetter!* Держите его! — заорал немец, указывая на меня пальцем. — Это беглый раб! В погоню!

— Постойте, джентльмэн, — спокойно заметил китаец. — Сперва расплатитесь, а потом уже бегите в погоню.

Я выскользнул на улицу и закрыл за собою дверь.

Набережная была почти так же пустынна, как вчера вечером. Несколько голых косоглазых ребятишек, два-три китайца, лениво курящих на каменных скамейках у входа в свои домики, да женщина, полощущая белье в речке.

Я бежал к мосту. Там я поверну за угол, и немец меня не найдет. Кроме того, мне хотелось попасть в центр города и выяснить свое положение.

Через мост тянулись возы, нагруженные листовым железом. У каждого воза шел погонщик негр в маленьких грязных трусиках, со сверкающим медным обручем на шее. За каждым тремя неграми следовал араб в длинном белом балахоне, с чалмой на голове и короткой винтовкой в руках. Все они с удивлением смотрели на меня.

Я добежал до угла. Направо от меня тянулась длинная, прямая, хорошо замощенная улица, полная народу. Оглянувшись, я увидел на набережной огромную фигуру Баумера, который бежал, что-то крича сидящим на скамеечках китайцам. Те неохотно вставали и лениво следовали за ним.

Я свернул за угол и побежал по улице. Какие странные люди попадались мне навстречу! И степенные арабы, и юркие китайцы, и оливковые португальцы, и англичане в кожаных широкополых морских шляпах, с серьгой в правом ухе. Вся эта толпа, кроме пестрых женщин, увешанных ожерельями из продырявленных монет, и полуголых людей с медными обручами на шее, была вооружена до зубов. Почти все носили широкие шелковые пояса, из-за которых торчали револьверы и кинжалы. У каждого за плечами было ружье с обрезанным дулом.

Пробежав саженой сто, я оглянулся. На углу показался Баумер в сопровождении трех-четырех китайцев, которые казались рядом с ним карликами. Он что то кричал арабам, идущим за возами, и указывал на меня. Арабы недоверчиво слушали его, Наконец, двое или трое из них нерешительно покинули возы и подошли к нему.

Я побежал дальше. Прохожие с удивлением смотрели на меня. Я стал уставать. Я был еще слаб после болезни и не мог бежать так быстро, как бегал некогда в Ленинграде.

— Держите его! держите его! — слышал я за собой крики Баумера.

Он гнался за мной в сопровождении кучки китайцев и арабов. Расстояние между нами все уменьшалось. Я собрал все силы и бешено устремился вперед. Прямо передо мною шестеро почти голых негров с обручами на шее мостили улицу. Рядом с ними стоял араб с ружьем в руках и следил за их работой.

— Держите его! — закричал он.

Негры лениво поднялись и преградили мне дорогу. Я летел прямо на них. Они еще издали

ждали меня с растопыренными руками. Но когда я подбежал к ним, они только загалдели и



Он перелетел через меня.

беспорядочно замахали руками. Помню, у меня тогда же мелькнула мысль, что им не хотелось,

чтобы я был пойман. Иначе бы они меня поймали.

Я пробежал мимо них. Араб поднял камень и кинул мне вслед. Но я подпрыгнул, и камень пролетел у меня под ногами. Араб что-то закричал, оглушительно выстрелил в воздух и бросился за мной.

Число моих преследователей все росло и росло. Я едва переводил дыхание. Они были уже совсем близко — шагах в десяти-пятнадцати. Я слышал за собой топот их ног и крики, среди которых ясно выделялся оглушительный бас Баумера.

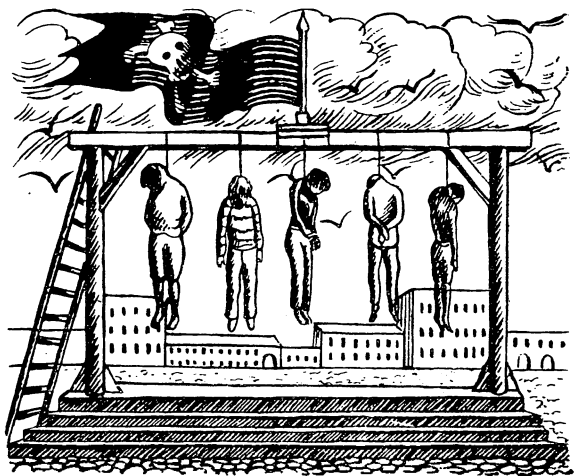
Улица кончалась площадью. Я уже видел коричневые четырехэтажные здания, расходящиеся полукругом.

Но вдруг мне навстречу кинулся человек. Это был высокий детина коричневого цвета. Голова его была разукрашена огромными пестрыми перьями. Такие же перья покрывали его бедра. В его нос было продето золотое кольцо. Ноги и руки были украшены многочисленными заплатами и браслетами. Он бежал прямо на меня, испуская странные гортанные звуки. Мы неминуемо должны столкнуться. Вот я уже слышу звон его украшений, вот я вижу перед собой его дикие глаза с белками нечеловеческой белизны. Он прыгнул, я нагнулся, и он перелетел через меня.

Совершенно обезумевший я выбежал на площадь. Площадь была широка и пустынна. Но тут моим глазам представилось зрелище, которое испугало меня больше, чем погоня.

Посреди площади стояло два высоких красных столба с перекладиной. На перекладине висело пять трупов — четыре негра и один белый. Мно-

жество птиц кружилось в воздухе, сидело на перекладине, на головах и плечах повешенных. Воздух гудел от их клекота. А над виселицей развевалось по ветру огромное черное полотнище, на котором был изображен череп с двумя перекрещенными костями.



Посреди площади стояло два столба с перекладиной.

Я не мог вынести этого зрелища и повернул направо. Мои преследователи кинулись мне наперерез. Я бежал к портику большого коричневого здания и чувствовал, что вот-вот сейчас упаду от усталости. Бас Баумера, бежавшего впереди всех, гудел уже почти над самым моим ухом. Я добежал до широкой мраморной лестницы и одним махом взлетел на нее.

Прямо передо мной между колоннами находилась большая стеклянная дверь, над которой было выведено „Oréga“. Дверь отворилась, и я очутился лицом к лицу со Шмербиусом! В это мгновение тяжелая рука Баумера ударила меня по плечу, и я упал на гладкие мраморные плиты.

— Что вам нужно от этого мальчишка? — прозвучал громкий, резкий голос Шмербиуса.

— Он — беглый раб! — заревела толпа. — Мы хотим надеть ему на шею медный обруч.

— Ах, вот как! — заговорил Шмербиус. — Похвальное намерение. Это, должно быть, ваша затея, Баумер? А знаете ли вы, что это — *мой* раб? Это мой личный секретарь, и мне лучше знать, должен ли он носить обруч на шее, или нет. Расходитесь, джентльмены. А вы, Баумер, будьте в другой раз поосторожнее, не то я велю вас оштрафовать.

— Donnerwetter, — прошептал Баумер. — Покажу я еще этому мальчишке.

— Что вы сказали? — провизжал Шмербиус.

— Ничего, — ответил немец и стал спускаться с лестницы. Остальные преследователи повуро побрели за ним.

— Откуда вы? — заговорил Шмербиус. — Я был уверен, что вы погибли, но счастлив вас видеть целым и невредимым. Я сделаю вас моим личным секретарем. Потом, когда вы проникнетесь той великой идеей, которой я служу, я дам вам свободу и блестящее общественное положение. Пойдемте.

Он взял меня за руку и повел через площадь.

Мы прошли под виселицей. Еще свежие, но уже потрепанные птицами, трупы мерно покачивались над нашими головами. Птицы, сидящие на



„Что вам нужно от этого мальчика?“ — спросил Шмербус.

них, пристально смотрели на нас, как бы говоря: „подождите, и вы будете здесь висеть“.

Пройдя площадь поперек, мы вошли в широкие двери большого коричневого дома.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Верховный Совет.

Я сидел на бархатной скамеечке в большом зале, облицованном черным мрамором. По мрамору висели потемневшие золотые нити, которые сплетались в причудливые гирлянды удивительной красоты. Эта облицовка была создана не в наше время и не нашей культурой. Она, должно быть, перенесена сюда, в это казенное коричневое здание, из какого-нибудь древнего храма, пострсенного давно погибшим народом. Посередине каждой стены был выведен аляповатый герб, несомненно позднейшего происхождения. Он изображал череп и две скрещенные кости.

Меня привел сюда Шмербиус, и мне пришлось стать свидетелем странного зрелища — заседания Верховного Совета морских разбойников. За длинным столом, посреди залы, сидело двенадцать человек. Одного из них, Эрлстона, я знал. Это был тот самый англичанин, который пил с Ваумером в китайской таверне. Он был по-европейски элегантно одет и чисто выбрит. На столе перед ним лежал сверкающий автоматический револьвер. Мне было противно его самоуверенное, красивое, наглое лицо. Он скорее походил на карточного шулера, чем на пирата.

По правую руку от него сидел араб, высокий, чернородый, с хитрыми, лстивыми глазами. Его пышная шелковая чалма была обшита жемчугом. На стол перед собой он положил изогнутый, богато изукрашенный жемчугом кинжал.

Рядом с арабом сидел нелепый толстый человек с огромным багровым носом и крошечными свинными глазками. Он был одет в мягкий, широкий, серый костюм, весь перемазанный чернилами. Склонив на бок большую, лысую голову, он что-то торопливо писал чрезвычайно мелким почерком на огромных листах бумаги.

Рядом с ним сидела женщина, единственная женщина в этом почтенном собрании. Она была похожа на русскую курсистку — маленькая, курносая, стриженная. Одета она была довольно причудливо: коричневая кофточка, широченные синие шаровары, высокие мужские сапоги и широкий шелковый пояс, из-за которого торчали рукоятки бесчисленных кинжалов. Перед ней на столе лежал большой неуклюжий наган.

Дальше сидел негр — чрезвычайно франтоватый молодой человек с добродушной физиономией. Его пышный лиловый галстук был заколот полдюжиной бриллиантовых булавок. На столе перед ним лежала толстая трость с золотым набалдашником.

Остальные семеро членов Совета были китайцы. Я не умею отличать китайцев друг от друга. Они, по моему, все на одно лицо. Скажу только, что они были чрезвычайно пестро одеты, и что перед каждым из них лежало ружье с обрезанным дулом.

Неподалеку от стола стояло два стула, на спинки которых была положена большая широкая доска. Возле этой доски метался и прыгал Шмербиус. Он

был без сюртука. Из замусоленного жилета торчали рукава грязной рубашки. Огромный красный галстук неистово метался из стороны в сторону. На этой доске лежал его фрак. Он гладил его раскаленным до красна угольным утюгом и говорил, говорил, говорил...

— Лэди и джентльмены!— начал он свою буйную английскую речь (английский язык был здесь языком официальным, так как его понимали все). — Я должен извиниться перед вами за беспорядок в моем туалете. Особенно перед вами, мисс Мотя, — тут он учтиво поклонился стриженной девушке в синих шароварах. — Я только вчера вернулся из длительного путешествия и был так завален делами, что не имел времени привести себя в порядок. Не могу скрыть от вас, лэди и джентльмены, что моя поездка была не вполне успешна. Прежде, чем приступить к докладу, я постараюсь возобновить в вашей памяти подробности этого прискорбного дела. Как вам известно, осенью 1913 года британское правительство, подготавливаясь к Великой Мировой Войне, решило перевезти чрезвычайно ценный груз из Капштадта в Лондон. Этот груз состоял из нескольких тонн крупных алмазов. Обладание ими сделало бы нашу казну одной из богатейших в мире и приблизило бы нас к осуществлению наших грандиозных планов. Британское правительство, боясь шпионажа со стороны других великих держав, окружило отправку этих алмазов величайшей тайной. Чтобы окончательно запутать следы, решено было отвезти алмазы сначала в Бомбей, там перегрузить на другое судно и только тогда отправить их через Суэцкий канал в Лондон. Все это нам сообщили наши

шпионы, занимающие и по-сейчас важные посты в британском министерстве иностранных дел.

Тут он замолк, нагнулся и стал преуморительно брызгать слюной через зубы, так что капельки слюны мелким бисером рассыпались по фраку. Затем он снова принялся гладить и продолжал свою речь.

— Мы решили действовать. Наш лучший линейный корабль „Кровь и Жемчуг“ под управлением славного капитана Томаса Коллинса был отправлен к восточным берегам Африки. Там 11 октября 1913 года он встретил британский транспортник, шедший на северо-восток в сопровождении дредноута. Утром 13-го октября произошел бой, о котором мы ничего толком не знаем. Известно только, что все три корабля погибли. Британское правительство тщетно искало погибшие алмазы.

Шмербиус отложил уют в сторону и надел выглаженный фрак.

— С корабля Томаса Коллинса, — продолжал он. — спасся только один человек — матрос-португалец. Ему удалось добраться до Занзибара, откуда он поспешил к нам сюда, на остров Танталану. Томас Коллинс, умирая от раны в живот, просил его доставить Ли-Дзень-Сяню, атаману и повелителю, документ, в котором указывалось точное местоположение затонувших алмазов. Но когда португалец прибыл сюда, его сразу встретили два предателя — дон Гонзалес Ромеро и Геннадий Павлецкий. Они отвели португальца в китайскую таверну, что на набережной реки Юань, напоили его и отняли драгоценный документ. Португалец, несмотря на то, что был пьян, пробовал сопротивляться. Но предатели нанесли ему несколько ран

кинжалом и скрылись. Завладев небольшой пхуной, они обманом заставили стражу открыть Двигающийся Утес и бежали с острова, захватив с собой своих детей и еще одного предателя—негра Джамбо. Удирая, они имели наглость отправить мне письмо, в котором писали, что считают наш почтенный промысел—преступным и неблагородным занятием.

Тут он лизнул свой указательный палец, дотронулся им до утюга и подскочил от боли.

— Сейчас же была организована погоня, во главе которой встал я сам, хотя для этого мне пришлось отказаться от своих музыкальных занятий. Не стану описывать, как в течение стольких лет я гонялся за ними по всему свету. Наконец, я поймал их на их собственном корабле. Они ехали за алмазами. Но тут меня постигла неудача. Документ был разорван пополам, и мне удалось достать только вторую его половину. Вот она.

Он засунул руку в жилетный карман, вынул целую кипу во много раз сложенных бумажек и принялся торопливо разворачивать их. Все они были испещрены потными знаками. После долгих поисков он нашел то, что искал—конец того документа, начало которого лежало у меня в кармане.

— Вот, джентльмэны, вторая часть этого драгоценного манускрипта. Здесь обозначена широта, на которой затонул груз, а долгота находится в первой, отсутствующей части документа. Где находится эта часть—неизвестно. Пойманные предатели клянутся, что они держали ее в портфеле у себя в каюте. Этот портфель был тщательно осмотрен. Документа в нем нет. У меня есть подозрение, что он был похищен у них кем-нибудь из их экипажа. Все матросы их дрянного суде-

нынка, как перешедшие на нашу сторону, так и не перешедшие, были тщательно обысканы. Но этот обыск ни к чему не привел. Сейчас оба предателя работают в доках вместе с неграми. А вы знаете, сколь приятна эта работа, — тут он криво усмехнулся и зловеще взмахнул утюгом. — Я обещал им прощение и свободу, если они укажут мне, где находится пропавшая часть документа. Но они клянутся, что им ничего неизвестно. Я угрожал повесить их на площади Оперы, но и этим ничего не добился.

Он остановился, перевел дух и оглушительно чихнул. Затем заметался еще неистовее.

— Но, джентльмэны, это все деталь, чепуха, мелкая неудача. Она не мешает нам выполнить наши грандиозные планы. За время мировой войны мы необычайно разбогатели. Половина тех торговых судов, в истреблении которых англичане обвиняли немцев, а немцы — англичан, были похищены нами. Это мы орудовали в Африке во время колониальной войны. А сколько мы разграбили островов Великого океана! Газеты полны сообщениями о гибели кораблей, а эти корабли преспокойно стоят в нашей гавани. Нет, джентльмэны, наши дела совсем не плохи. Лучшие инженеры мира работают на нас. Мы выкрали их из их лабораторий, и теперь наши доки лучше лондонских, наш воздушный флот не имеет себе равного в мире. Правда, он немногочислен, в нем всего двести пятьдесят летательных машин, но каждая такая машина может разрушить целый город. Много сделано и для обороны нашего славного острова Танталэпы. К Двигающемуся Утесу, оставленному нам в наследство древней расой, некогда

обитавшей на этом острове, теперь прибавлено еще два укрепления—Вращающийся Форт и Форт Подковы. Орудия этих двух фортов могут разнести в щепки любое судно, находящееся от острова на расстоянии тридцати пяти километров. В Америке, на машиностроительном заводе „Allied Machinery Co“, нами заказаны две гигантские турбины для превращения силы приливов в электрическую энергию. Когда мы привезем их сюда и пустим в ход, наш остров покроется восьмидесятиверстным куполом электромагнитных волн. Ни один неприятельский аэроплан не сможет приблизиться к нам ближе, чем на восемьдесят верст.

Я никогда еще не видел столь воодушевленного человека. Он так громко визжал свои фразы, что у меня звенело в ушах. Его руки, ноги, фалды и галстук стремительно метались из стороны в сторону и делали его похожим на ветряную мельницу, которую вертит ураган.

— Джентльмэны, близок миг торжества. Наши самолеты облетят весь мир. Один полетит в Лондон, другой в Париж, третий в Нью-Йорк, и так далее, джентльмэны, и так далее!..

Тут он вскочил на один из своих стульев, со стула на гладильную доску, с доски—на другой стул, и, наконец, спрыгнул на пол.

— В каждый большой город мира—в Лондон, в Париж, в Нью-Йорк, в Москву, в Берлин, в Буэнос-Айрес, в Токио, в Пекин, в Сидней, в Калькутту,—будет послано по одному из наших самолетов. И вдруг...—(тут он снова вскочил на стул,)—по знаку, данному радио-телеграфом с нашего острова...—(тут он схватил утюг и вскочил на доску)—все они швырнут вниз...--

(он поднял утюг над головой; члены совета за-слонили лица руками) — по небольшому баллону. Эти баллоны будут наполнены ядовитым газом, изготавливаемым на нашем химическом заводе профессором фон-Рупом, которого я прошлым летом похитил из Гейдельбергского университета. Одного такого баллона достаточно, чтобы в десять минут умертвить все живое на пространстве, равном десяти тысячам квадратных километров. Умрут не только все люди, но и лошади, и коровы, и собаки. Даже блохи и тараканы — погибнут. Ничто живое не устоит против действия этих разрушительных газов. Города будут превращены в грандиозные склады трупов. И тогда весь мир подчинится нам, джентльмэнам удачи с острова Танталэны. Красть пароходы не штука, это детская забава, мы украдем земной шар. Весь мир будет у наших ног! Все богатства потекут к нам в руки! Все народы станут повиноваться нам! Вот, что нас ждет впереди, вот, чего мы должны добиваться!

Он замолчал. Его губы скривились в восторженную — даже в умиленную — улыбку. Затем он продолжал назидательно:

— Но добиться этого не так-то легко. Необходимо напряжение всех сил, учет всех возможностей. А этого мы достигнем только при строгой ненарушимой дисциплине. Как проводят время джентльмэны удачи с острова Танталэны? Пьют, греют спины на солнце да поколачивают рабочую рабов. К сожалению, теперь, в самую горячую пору, нам предстоит пере выборы атамана. Это устаревшая формальность, мало того — это вредная формальность. Мне передавали, что по городу



„Весь мир будет у наших ног!“

хоят бездельники и агитируют за то, что Ли-Дзень-Сяня надо сместить. Им, видите ли, не нужно завоевание мира, им встарину было лучше. Правительство Ли-Дзень-Сяня, мол, слишком строго, и свободные пираты не должны подчиняться ему. Нет, только мы, правительство Ли-Дзень-Сяня, знаем, что нужно джентльмэнам удачи. Только мы обеспечим им богатство и свободу. Без нас — их, свободолобивых, голыми руками перехватывают английские и французские жандармы. Джентльмэны! Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами поддерживайте кандидатуру Ли-Дзень-Сяня на атаманских выборах. Он должен быть переизбран!

Тут Шмербуус замолчал и с трудом перевел дух. Члены Верховного Совета молчали.

— Нет ли у вас каких-нибудь вопросов?

Ни звука.

— Значит, вы согласны со мной?

Опять молчание.

— О, вы всегда бывали согласны со мной! Я благодарю вас за доверие, джентльмэны. Надеюсь, мы будем с вами так же дружно работать и после того, как Ли-Дзень-Сянь будет переизбран на следующее десятилетие.

Члены Верховного Совета дружно безмолвствовали.

— Еще на одну минуту я задержу вас, джентльмэны. Мистер Эрлстон, встаньте!

Эрлстон нерешительно встал.

— Ли-Дзень-Сянь, атаман и повелитель, благодарит вас за преданную службу джентльмэнам удачи и назначает вас комендантом Вращающегося Форта.

Глаза у Эрлстона засверкали. Он молча поклонился Шмербиусу.

— Приходите ко мне сегодня в оперу. Я с вами побеседую,—сказал Шмербиус Эрлстону, и затем прибавил:—Объявляю заседание закрытым. Прощайте, джентльмены!—И вышел.

— Теперь наше дело в шляпе! —сказал Эрлстон.— На этот раз он ошибся. Мне надоело быть прихлебателем этого плешивого шута. Я не позволю ему совершить переворот. Он вместе с Ли-Дзень-Сянем будет болтаться на виселице перед своей собственной Оперой. Не так-то легко покорить джентльменов удачи.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Заговор.

Итак, я стал личным секретарем мистера Шмербиуса, председателя Верховного Совета джентльменов удачи с острова Танталэны. Жил я в маленькой комнатухе на четвертом этаже большого коричневого здания. Мое окошко выходило на площадь, посреди которой стояла виселица. На противоположной стороне площади находилось другое коричневое здание, с колоннадой. Это была Опера. За Оперой тянулась ровная линия гор.

Шмербиус жил рядом со мной, в соседней комнате. Он вставал в 6 часов утра, доставал с пола башмак и стучал им ко мне в стену. Затем он швырял башмак в противоположную стену, за которой жил его раб — негр с медным обручем на шее. Я одевался и шел к нему в комнату. Стены

этой комнаты были увешаны чертежами и схемами. Письменный стол был завален грудой бумаг, нот и книг. Такого беспорядка мне еще никогда не приходилось видеть. Но Шмербиус чудесно разбирался в нем. Для него этот беспорядок был образцовым порядком. Он с легкостью извлекал из этой груды любую бумажку. Тут же лежала и та половина рапорта Томаса Коллинса, которую Шмербиус отнял у дона Гонзалеса.

Раб-негр приносит нам кофе. Шмербиус локтем очищает край стола от бумаг и ставит на него стаканы. Несколько потных тетрадок падает на пол. Шмербиус суетливо подымает их и кладет на самый верх бумажной горы так, что они качаются от каждого прикосновения к столу. Выпив кофе, он ставит стаканы под стол и начинает диктовать:

„Приказ № 1016 Председателя В/С Аполтона Шмербиуса“, — вывожу я под его диктовку, а сам думаю о папе. Что он сейчас делает? Как бы они не уморили его каторжной работой! Не отдать ли мне Шмербиусу начало этого проклятого документа? Может быть, тогда Шмербиус смягчил бы участь отца.

— Пишите, — говорит Шмербиус. — „Начальнику арсенала Гассану-бен-Дигаму. Снаряды образца Е17 отправить к Эрлстону, на Вращающийся Форт немедленно“.

„Нет“, — думаю я, — „раньше всего я должен повидаться с папой и посоветоваться с ним. Ведь я могу многого не знать. Может быть, он не хочет отдать этот документ Шмербиусу“.

— Написали? — спрашивает Шмербиус. — Я очень рад, что Эрлстона назначили комендантом.

Вращающегося Форта. Он—смелый, исполнительный и преданный нашему делу человек.

Я с трудом сдерживаю улыбку. Всего одну неделю живу я на этом острове, а уже знаю много такого, чего не знает сам Шмербиус. Например, что Эрлстон предатель, ненавидящий Шмербиуса. Но зачем мне говорить об этом? Шмербиус мой враг, и смуты среди пиратов мне на-руку.

— Мистер Ипполит, — наконец говорит мне Шмербиус (он со мною любезен попрежнему), не хотели ли бы вы пойти сегодня в Оперу? Я покажу вам мою новую певицу. Она очаровательна, бесподобна! Лучше, чем я ожидал. Сегодня она выступает в моей опере „Месть морехода“. Это моя удачнейшая вещь. Нежная и бурная. Там-там-там-там-там-там!

И он запел резким дребезжащим фальцетом.

Я ответил ему, что с радостью пойду в Оперу. О, мне хотелось посмотреть на Марию-Изабеллу. Может быть, она заметит меня. Может быть, нам удастся поговорить! Нет, нет, ни за что не удастся. Ведь Шмербиус не отпускает меня ни на шаг, а за ней, верно, следят еще строже.

Весь этот день прошел в скучной работе: под диктовку Шмербиуса я писал приказы и обязательные постановления. Потом линовал ему тетради для нот. Потом проверял какие-то бесконечные счета, составленные в двадцати различных валютах. Шмербиус работал суетливо, постоянно перескакивая с предмета на предмет. Он был органически неспособен ни к какому порядку, ни к какой системе. Но зато умел работать, как вол.

В шесть часов вечера негр подал нам обед. Я был чертовски голоден и с радостью набросился

на еду. Шмербиус ел неопратно, все хватал руками, нестерпимо сопел и чавкал. Но за время нашего сожителства моя брезгливость успела притупиться, и он уже не вызывал во мне бывшего отвращения.

После обеда он вытер губы рукавом, а рукав обтер ладонью.

— Пора идти. Мне, как автору, неловко опаздывать, — сказал он, вышел и стал быстро спускаться по лестнице. Я рысцой побежал за ним.

Солнце стояло еще довольно высоко, и на площади было жарко, как в пекле. Камни мостовой жгли мне пятки сквозь подошвы моих порядком истрепанных башмаков. Мы шли прямо через площадь и приближались к виселице. Трупы были уже убраны, и птицы, сидевшие на перекладине, грустно глядели на нас голодными глазами.

Когда мы подошли к этим печальным воротам, глаза Шмербиуса упали на маленькую бумаженку, приклеенную к одному из столбов. Мы оба прочли ее. На ней было написано:

„Радуйтесь, джентльмэны удачи! Скоро вы перестанете быть рабами. Никто не станет отбирать вашу добычу в казну. Вы сможете спокойно пропивать свои деньги в тавернах. Через неделю на этой виселице, рядом с Ли-Дзень-Сянем, будет болтаться Шмербиус“.

— Фу, какая мерзость! — сказал мой повелитель, плюнул и сорвал бумажку. Его лицо искажилось от злобы. — Я узнаю, кто это сделал и буду беспощаден! Ни один не уйдет от петли. Я усовершенствую сыск. У меня будет по два шпиона на каждого джентльмэна удачи!

Двери Оперы были широко раскрыты. Народ толпился у входа. По широкой мраморной лестнице подымались негры с кольцами в носу, индейцы с перьями на голове, арабы в шелковых чалмах, пестрые косоглазые китайцы с длинными косами, итальянцы в изодранных парусиновых брюках, похожие на цыган, смуглые, с большими сверкающими глазами, и англичане в широкополых кожаных шляпах, с рыжими бакенбардами на обветренных красных лицах, с черной от времени трубкой во рту. Изредка в этой толпе мелькали люди в европейских костюмах, лакированные, напомаженные, с белыми цветами в петлицах. Лица у них были лощеные, наглые, и они были противнее всех. А какие дамы были у этих джентльменов удачи! В глазах рябило от пестроты их кожи и туалетов, от блеска бесчисленных золотых украшений.

При нашем приближении толпа замолкала и расступалась. Мы вошли в здание и поднялись по лестнице в небольшую залу. Здесь было еще больше народу. Яркий электрический свет сверкал и дробился в ожерельях и серьгах женщин.

К нам подошел высокий толстый негр в пестром мундире с блестящими пуговицами и с обручем на шее. „Капельдинер, должно быть“, — подумал я.

Шмербиус быстро повел нас по каким-то ярко освещенным коридорам. Я шел за ним, за мной этот негр. Внезапно я почувствовал, что он держит меня сзади за куртку. Я обернулся и вдруг узнал его.

— Джам . . . — начал было я.

Но он испуганно приложил палец к губам.
— Да, это я, Джамбо. — прошептал он. — Вот вам записка от дона Гонзалеса.



Он сунул мне в руку клочок бумаги...

С этими словами он торопливо сунул мне в руку маленький клочок бумаги. Я спрятал записку в карман.

— Вот ваша ложа, сэр, — громко сказал Джамбо Шмербиусу, отворяя перед нами дверь.

Мы вошли в большую темную ложу. Занавес еще не подымался, но огни в зале были уже потушены. В ложе, кроме нас, сидело пять человек. Двух из них я знал: Это были члены Вер-

ховного Совета — начальник арсенала Гассан-бен-Дигам, тот самый араб с хитрыми глазами, который на Совете сидел рядом с Эрлстоном, и стриженная девушка в синих шароварах, мисс Мотя, как ее называл Шмербиус.

В середине ложи сидел высокий жирный негр, с маленькими, чуть-чуть раскосыми, блестящими глазами, приплюснутым носом и необычайно толстыми губами. Голова его была покрыта шлемом, украшенным пышными страусовыми перьями. К передней части шлема, надо лбом, была прикреплена лицевая часть черепа. Казалось, будто у этого человека два лица: лицо толстогубого негра и лицо смерти. Одет он был пышно и вооружен с ног до головы.

Шмербиус подошел к нему и низко поклонился.

— Привет вам, атаман и повелитель, — сказал он.

Негр кивнул головой и все перья на его шлеме заколыхались.

Так вот он каков, этот Ли-Дзень-Сянь! Я думал, что он китаец, а он оказался негром.

Грянула музыка, поднялся занавес, и началась опера Аполлона Шмербиуса „Месть морехода“.

Я профан в музыке, но должен признаться, что эта опера очаровала меня. Буйная и ласковая, она то наполняла мое сердце бурной радостью, то омрачала глубокой печалью. Да, Аполлон Шмербиус действительно великий композитор. Сюжет оперы мне понравился меньше. Он был слащав и сентиментален. Я ждал появления Марии-Изабеллы. Но в первом действии она не участвовала.

Опустился занавес, и зал задрожал от рукоплесканий. Антракт. В зале зажглась электрическая люстра.



„Привет вам, атаман и повелитель“, — сказал он.

Шмербиус почтительно склонился перед Ли-Дзень-Сянем.

— Bravo, bravo! Великолепно! — величественно сказал атаман.

— Да что вы... это так... пустяки... Право, я недостоин... — скромно забормотал Шмербиус.

Я стоял в углу ложи. Никто не обращал на меня внимания. Теперь я могу прочесть записку, которую сунул мне Джамбо. Я развернул ее.

«Уважаемый сеньор Ипполит, — прочел я. — Если вы хотите получить сведения о вашей отце, приходите на левую набережную реки Юань сегодня ночью. Справа от моста угольная свалка. Пароль: мозамбиканец.

С почтением

Дон Гонзалес Ромеро».

Я спрятал записку в карман. Как мне быть? Ведь Шмербиус не отпустит меня. Надо бежать. Выжду удобную минуту и убегу. Узнать что-нибудь об отце мне сейчас важнее всего.

Опять поднялся занавес. Опять зазвучала вкрадчивая музыка. Появилась Мария-Изабелла. Я сразу узнал ее по золотым волосам. Шмербиус прав, она прекрасна. Никогда я еще не слышал такого чудного голоса. А сколько в ней нежной робости. Как я завидовал тому китайцу-актеру, который играл влюбленного морехода. Она гладила его по волосам, целовала, утешала его. Нет, меня она не видит. Я стою в самом дальнем, в самом темном углу ложи.

Опера продолжалась часа три. Шмербиус был совершенно увлечен ею. Он тихонько тоненьким

голосом подпевал Марию-Изабелле, отбивая ногою такт.

Наконец, в последний раз опустился занавес. Публика бешено аплодировала. Эти дикие люди были музыкальны от природы. Особенно негры. Они просто выли от восторга. Марию-Изабеллу вызывали двенадцать раз. Она робко и застенчиво кланялась. Затем весь зал огласился криками: «автора! автора!»

Шмербиус покраснел, смущенно хихикнул и выбежал из ложи. Через минуту он появился перед занавесью, красный, как рак, и растерянно кланялся. Все взоры были устремлены на него. За мной никто не следил.

Я тихо отворил дверь ложи и вышел в коридор. Через минуту я был на площади.

Текла безлунная, звездная, тропическая ночь. Редкие электрические фонари освещали мне путь. Как тихо! Только большие крылатые светляки, залетевшие сюда из леса, нарушали тишину своим однотонным жужжанием. Душа моя все еще полна нежными звуками оперы. Вот я иду по той самой улице, где за мной гнался Баумер. Фонари становятся все реже, дома все ниже. Еще несколько минут ходьбы, и я дойду до моста через реку Юань. Я перейду на ту сторону реки, поверну направо, к озеру, и буду искать угольную свалку.

Вдруг я слышу за собой тяжелые торопливые шаги. Погоня? Я прибавляю шаг, но не решаюсь бежать. Боюсь навлечь на себя подозрения.

Мой преследователь быстро приближается ко мне. Я слышу по шагам, что он бежит. Оборачиваюсь. Темно. Никого не видно. Возле моста горит фонарь. Бегущий догоняет меня.

— Ипполит! — говорит он.

Это Джамбо. Его обширный мягкий живот колышется от одышки.

Мы вместе проходим через мост и поворачиваем направо.

— Разве может негр называться Ли-Дзень-Сянем? — спрашиваю я. — Ведь это китайское имя.

— Его отец китаец, а мать негритянка, — отвечает Джамбо.

Перед нами вздымаются черные горы. Это каменный уголь. Между горами я вижу далекие огни стоящих на озере кораблей.

— Кто идет? — окликает нас чей-то голос.

— Мозамбиканец! — отвечает Джамбо.

— Мозамбиканец! — отвечаю я.

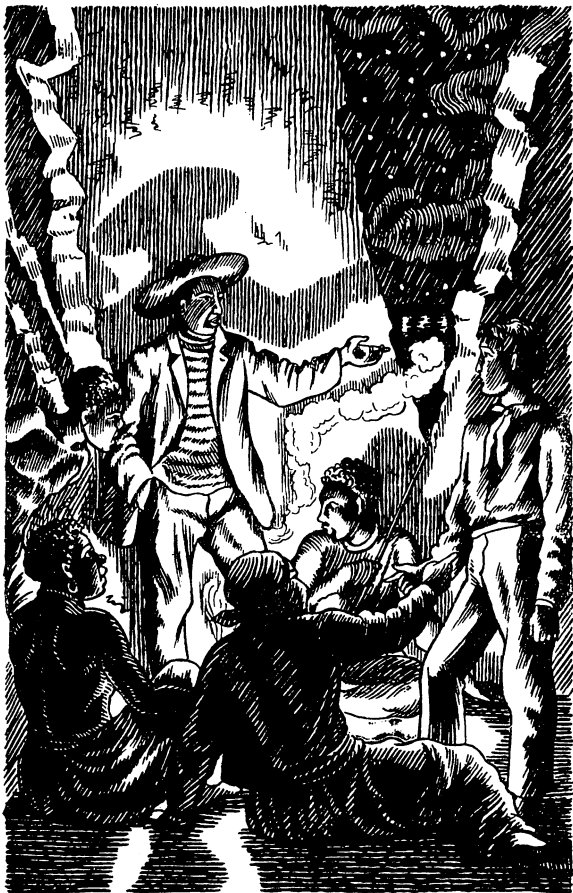
Мы идем между огромных куч угля. Угольная пыль набивается мне в уши, в глаза, в нос. Я чихаю. До меня доносится запах табачного дыма и тихие голоса.

В узкой щели, обруженной со всех сторон кучами угля, вокруг костра сидят человек двадцать. Почти все негры, у всех обручи на шее. Между ними дон-Гонзалес. Его трудно отличить от негров, до того он перемазан углем. На шее у него тоже обруч.

— Это сын сеньора Павелецкого, — представляет он меня обществу. — Личный секретарь председателя Верховного Совета.

— Дон Гонзалес, — говорю я, — где мой отец?

— Ваш отец работает в доках. Шмербиус не мог простить ему пропажу документа и послал его туда, на каторжной труд. Ваш отец и просил меня позвать вас на это собрание. Он видел, как вы



„Дон Говзалес“—говорю я—„где мой отец?“

ударили Баумера прикладом по голове, и решил, что мы можем вполне на вас положиться.

Я почувствовал, что краснею. Я был вполне счастлив. Добиться доверия отца, к этому я стремился всю жизнь!

— Итак, я продолжаю, — сказал дон Гонзалес. — Через неделю выборы атамана. Джентльмэны удачи хотят провалить Ли-Дзень-Сяня и выбрать на его место Эрлстона. Но Шмербиус этого не допустит. Если провалится Ли-Дзень-Сянь, полетит и он, а если полетит он, полетят все его грандиозные нелепые планы о покорении мира. Эти планы ему дороже всего. Когда выяснится результат выборов, он попробует разогнать джентльмэнов удачи обстрелом с обоих фортов и с кораблей и восстановить свою власть. Недаром сегодня лучшие снаряды были перевезены из арсенала на Вращающийся Форт. Но Шмербиус не знает, что Эрлстон изменил ему, что Эрлстон сам хочет быть атаманом. О, он тоже готов сражаться. Трудно сказать, кто из них победит. Я бы хотел, чтобы не победил ни тот и ни другой. Должны победить мы. Мы, рабы, должны воспользоваться этой смутой и завоевать себе свободу! Нас много. Когда джентльмэны удачи уйдут на выборы, мы перебьем надсмотрщиков, подожжем город и пойдем сражаться. Теперь или никогда!

— Теперь или никогда! — глухо отозвались негры.

В их словах слышалась тяжелая многолетняя ненависть.

Да, они отомстят своим угнетателям! Они борются не ради почестей и богатств, а ради свободы и жизни.

Настало время расходиться. Уходили по двое, по трое, чтобы не вызвать подозрений. Мы с Доном Гонзалесом простились на мосту.

— Знаете, дон Гонзалес, — сказал я. — Отцовская часть документа у меня.

Ц я рассказал ему, как попала ко мне эта драгоценная бумага.

— А не известно ли вам, — спросил он, — где держит Шмербиус мою часть документа? Ведь вы, как секретарь...

— Она лежит у него на столе. Я могу достать ее.

— Достаньте.

Он попрощался со мной с изысканной учтивостью кастильского гравда.

Через полчаса я на цыпочках пробрался к себе в комнату и лег спать. За стеной раздавался оглушительный храп Шмербиуса.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Выборы атамана.

Об измене Эрлстона Шмербиус узнал накануне выборов.

— Эрлстон выставил свою кандидатуру, — сказал он мне, бледный от злости. — Молокосос! Бездельник! Хвастливый маменькин сынок!

— Вы боитесь, что провалят Ли-Дзень-Сяня? — спросил я.

— Нет, не боюсь. Это было бы равносильно провалу всего нашего дела. Вель есть в них хоть капля здравого смысла. А если провалят — ну что ж,

не беда, пусть проваливаются. Я заставлю их признать нашу власть. Не бросать же дело на полпути. И какое дело — планетарное, грандиозное!

Утром следующего дня я был разбужен гулом и ревом многотысячной толпы, собравшейся на площади. Я подошел к окну. Толпа чернела кучками вокруг фонарей. На фонари взбирались ораторы.

Шмербиус постучал ко мне через стену. Я побежал к нему в комнату. Он, уже одетый, сидел на кровати.

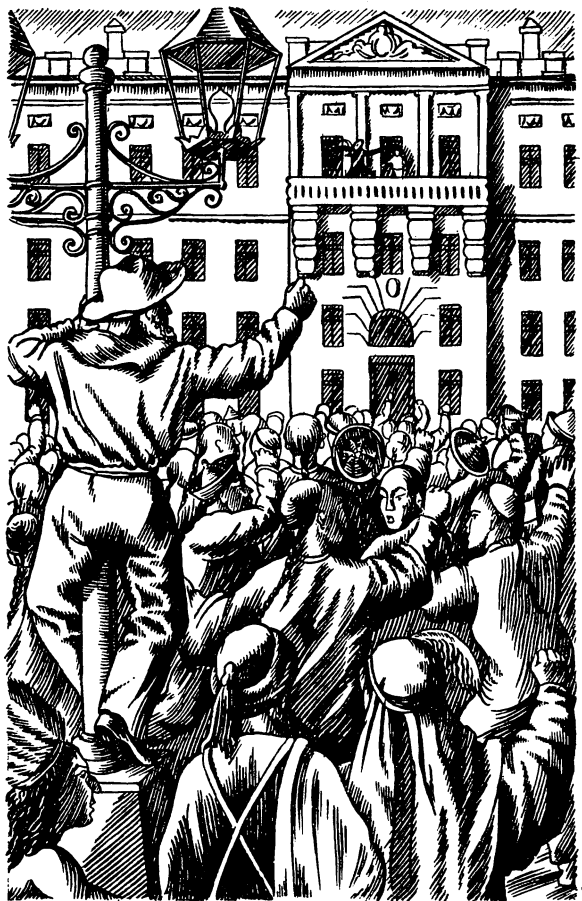
— Я буду говорить речь, — забормотал он. — Я скажу им! Я объясню им! Ведь они провалят все дело. Нужно же втолковать им, что этот дурак Эрлстон думает только о себе. А что будет с моей Оперой? Ай-ай-ай!

Я снова подошел к окну. Толпа все росла. Чорт возьми, сколько китайцев! Это приняли на выборы жители окраин. В центре города их так немного. И ни одной женщины, ни одного раба. Сегодня женщинам и рабам запрещено появляться на площади.

Но что делают там, у виселицы? Кого-то вешают? Нет, это куклы, а не люди. Какие смешные чучела. Ага, я понял! Это они вешают изображения Шмербиуса и Ли-Дзень-Сяня. Как похожи, как искусно сделаны! У Ли-Дзень-Сяня перья на шлеме — из мочалки, у Шмербиуса нос свисает ниже подбородка.

Шмербиус встал с кровати и подошел к зеркалу. Он набрал полный рот булавок и стал тщательно прикалывать к своему сюртуку широкую голубую ленту. Затем вышел на балкончик, висевший над площадью.

Я стоял в комнате у него за спиной и мог видеть все. Чучела были уже убраны с виселицы. Раздалось жидкое недружное ура.



На фонарный столб взобрался рыжий человек огромного роста

Шмербиус говорил по-английски. Громко и уверенно зазвучал его резкий, пронзительный голос. Но толпа перебила его.

— Говори по-китайски! — заревели китайцы. — Пусть он говорит по-китайски! К чорту английский язык!

— А почему не по-арабски? — вопили арабы — Говори по-арабски!

Но китайцев было больше. И Шмербиус заговорил по-китайски. О, он знал все языки.

Несколько минут толпа молча слушала его. Я не понимал его речи, но чувствовал, что он говорит хорошо и вразумительно. Затем снова раздался невнятный, разноязычный гул.

На фонарный столб, как раз против нашего балкона, взобрался рыжий человек огромного роста. Это был Баумер.

— Не слушайте его! — заревел он оглушительным басом. — Он все врет. Он хочет, чтобы вы, словно рабы, гнули перед ним спины. Это он отнял вашу свободу, джентльмены удачи! Неужели вы хотите, чтобы оперный свистун ездил на ваших спинах? Долой!

— Долой! — заревела толпа. — Долой оперного свистуна! Долой Ли-Дзень-Сяня!

«Мелкие воры не любят крупных воров», — подумал я. — «Он хочет украсть весь земной шар, а им больше нравится грабить корабли на Великом океане».

Шмербиус вошел в комнату, бледный, с синими губами и снова сел на кровать.

— Бей его! — снова прогремел бас Баумера. — Убьем этого гада, а потом будем выбирать атамана!

— Бей, бей! — редела толпа.

Дом задрожал. Это толпа выламывала двери.

Шмербиус подбежал к телефону.

— Дайте номер шестнадцать! — завизжал он. — Это мисс Мотя? Да? Ведите ваших молодцов в Оперу. Да, да. С заднего входа. Расставьте на главной лестнице пулеметы. Да... стреляйте, стреляйте немедленно... да... да... да... Сейчас иду.

Тррах! Парадная дверь была выбита. По лестнице раздался топот бесчисленных ног.

— Идем, — сказал мне Шмербиус, и я побежал за ним. Мы прошли до самого конца коридора. Он открыл дверь. Вот мы в маленьком чулане с квадратным отверстием в полу. Он запер за собой дверь на ключ.

Мы подошли к отверстию и стали спускаться вниз по винтовой лестнице. Через секунду до нас донеслись удары в запертую дверь.

Мы спустились в темный, сырой сводчатый коридор. Здесь пахло плесенью, и было тяжело дышать. Шмербиус вынул из кармана огарок свечи, зажег его и повел меня за собой. Минут пять мы шли в полном безмолвии. Вдруг я наступил ногой на какой-то круглый предмет и испуганно вскрикнул.

Шмербиус засмеялся.

— Череп, — сказал он. — Здесь этого добра сколько угодно.

И действительно дальше черепа и кости стали попадаться нам на каждом шагу. Шмербиус отбрасывал их на ходу носком сапога, они, как гнилые деревяшки, ударялись о каменные стены и рассыпались.

— Чьи это кости? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он. — Должно быть, тех самых людей, которые построили Двигающийся Утес и покрыли орнаментом черные стены Совета.

Свеча несколько раз потухала, и Шмербиусу приходилось снова зажигать ее. Каждая остановка приводила его в бешенство. Он страшно спешил.

Наконец, мы дошли до другой винтовой лестницы. Он быстро помчался вверх. Я едва поспевал



Я наступил на какой-то круглый предмет.

за ним. Все выше с каждым поворотом. Свеча потухла. Трудно идти в темноте по узким скользким ступенькам. Наконец он ударился обо что-то головой, остановился, понатужился и поднял над собой люк.

Мы оказались в партере Оперы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

В Опере.

В партере была суета: мрачные молчаливые люди неуклюже строили баррикады; кресла горою громоздились у главного входа. Со сцены, один за другим, то и дело прыгали матросы, возбужденно потрясая ружьями, и направлялись к парадным дверям, выходящим на площадь. Вот двое из них протащили пулемет. За этим пулеметом — второй, третий, четвертый. Всем распоряжалась мисс Мотя. Маленькая, кругленькая, красненькая, она шариком перекатывалась с места на место, и всюду раздавался ее голос. Хмурые, бородатые моряки повиновались каждому ее слову.

— Пойдемте, Аполлон, — сказала она Шмербиусу по-русски. — Мы живо разгоним изменников.

— Да, разгоним, а что же потом?

— А потом нам придется плохо. Эрлстон будет обстреливать Оперу из Вращающегося Форта.

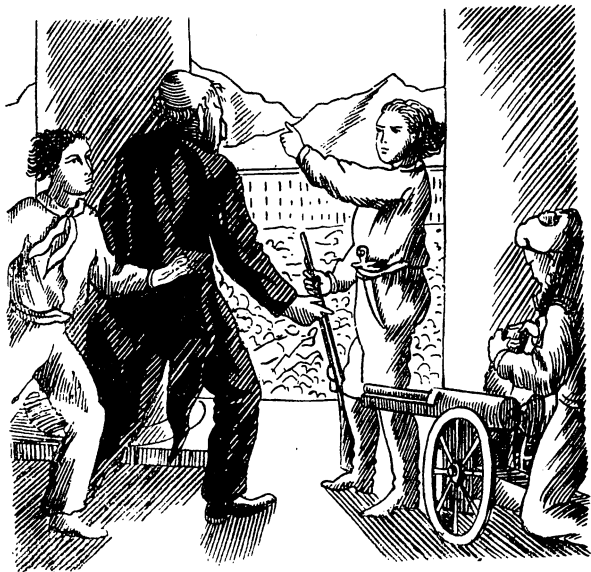
И она побежала к окну. Площадь была залита народом. Люди сидели на фонарях, на деревьях, на крышах, даже на перекладине виселицы. Здание Верховного Совета тоже кишело людьми. Через его выбитые окна на площадь летели стулья, столы, пишущие машинки, бумаги.

Вдруг бесечно затикали гигантские часы: пулеметы.

Толпа отхлынула. Давя друг друга, люди бурными кипучими потоками полились в переулки и улицы. Но переулки и улицы были слишком узки и не могли сразу вместить всех убегающих, а пулеметы не переставали стучать.

Шмербиус вышел под коллонаду к пулеметам. Я поспешил за ним.

— Перестаньте стрелять, — сказал Шмербиус мисс Моте. — Они теперь и без того разбегутся.



„Не говорите о победе раньше времени“, — сказала девушка.

Если вы всех перестреляете, кем же я буду управлять после победы?

И он мрачно улыбнулся.

— Не говорите о победе раньше времени, — сказала девушка. — Самое страшное еще впереди.

И как бы в подтверждение ее слов, Вращающийся Форт открыл огонь.

— Плохой у тебя прицел, Эрлстон, — сказал Шмербиус. — Ручаюсь, что ты угодил в озеро.

Площадь опустела. Трупы покрывали ее. Среди них копошились раненые. Недалеко от меня на ступеньках сидел какой-то бледный старик, и изо рта у него шла черная кровь. Я хотел кинуться к нему на помощь, но в эту минуту снова раздался оглушительный грохот. Со звоном посыпались стекла. Когда рассеялся дым, мы увидели, что там, где была виселица, зияет большая яма. Эрлстон промахнулся опять.

— Опять перелет! — сказал Шмербиус таким разочарованным тоном, словно порицал неприятеля за его неумение.

Далеко впереди загремели пушечные выстрелы.

— Это суда, стоящие на озере, вступили в бой друг с другом, — сказала мисс Мотя.

К Шмербиусу подошел бородатый араб и сказал, что в фойе звонит телефон. Шмербиус ушел. Минут через пять он вернулся.

— Я говорил с Ли-Дзень-Сянем. Он бежал в Форт Подковы. Какой позор! мы здесь ради него рискуем шкурой, а он сидит себе там за семьюдесятью пушками и поглядывает на сражение в бинокль. Я посоветовал ему начать обстрел Вращающегося Форта.

И, действительно, сейчас же позади нас, в горах, началась канонада.

— Посмотрите налево, — вдруг сказал Шмербиус: Зарево!

— Да, зарево, — тихо произнесла мисс Мотя. — Это горят доки.

— Доки!—завопил Шмербиус.— Мои доки! Шесть лет работы! Лучшие доки в мире! И все пошло прахам из-за этих идиотов.

— Это подожгли не они,—продолжала мисс Мотя.— Зачем им поджигать доки? Я думаю...

— Что вы думаете?

— Я думаю, что доки подожгли рабы. Они оставлены там одни без присмотра.

В эту секунду раздался такой оглушительный грохот, что у меня потемнело в глазах. Здание Оперы заколыхалось. Обрушилась одна из колонн, придавив своею тяжестью трех наших солдат. Я не удержался на ногах и сел на пол. Шмербиус съехал по лестнице вниз. Было смешно смотреть, как он подпрыгивает на каждой ступеньке. Эрлстон, наконец, добился своего. Он попал в заднюю стену Оперы.

Шмербиус, согнув свою и без того сторбленную спину, сконфуженно поднялся по лестнице.

— Вы полетели потому, что ни минуты не можете постоять на месте,—сказала мисс Мотя с улыбкой.— Мечетесь из стороны в сторону. История назовет вал „Аполлон Неукротимый“.

— Не говорите глупостей,—хмуро ответил Шмербиус,— лучше посмотрите туда. Что они делают?

Дом Верховного Совета снова наполнился людьми. Они, должно быть, пробрались туда через заднюю дверь с одной из соседних улиц.

— Приготовьте пулеметы!—сказал Шмербиус.

— Нет, нам нечего их бояться,—сказала мисс Мотя.— Они и сами напуганы на-смерть. Интересно знать, кто загнал их в здание Совета?

Из дверей и окон Верховного Совета на площадь стали выскакивать люди. В страхе они

смотрели на нас, затем бежали к третьему дому, выходящему на площадь, к арсеналу.

— В арсенале сейчас никого нет, — говорила мисс Мотя. — Гассан-бен-Дигам, не зная к кому прикнуть, еще вчера вечером уехал куда-то с удочкой рыбу ловить. Хитрец, он прикнет к победителю.

Все новые и новые толпы людей выходили из здания Совета, испуганно перебегали площадь и входили в арсенал.

А здание Совета наполнялось другими людьми — полуголыми неграми с медными обручами на шее. В руках у них были палки и железные прутья. Кой у кого были и ружья. Это — взбунтовавшиеся рабы из доков, из портов, из угольной свалки. Они выгнали испуганных джентльменов удачи из здания Верховного Совета и заполнили все этажи.

Из широко раскрытых дверей Оперы до нас донесся легкий запах дыма. Мисс Мотя послала одного из своих солдат узнать, в чем дело. Вернувшись, тот испуганно сообщил, что Опера горит.

— Ядро, — сказал он, — попало в склад декораций и подожгло их, как солому. Задняя дверь Оперы отрезана от нас огнем.

— В конце концов Эрлстон не такой уж плохой артиллерист, как я думал, — сказал Шмербиус, кивая головой.

— Что же делать? — спросила мисс Мотя. — Рабы каждую минуту могут перейти в наступление. Да и джентльмены удачи, захватив в арсенале оружие, попробуют нам отомстить. Мы в западне.

— Нет, нет, — сказал Шмербиус. — Нам рано отчаиваться. Пусть доки и Опера, создания моих рук, моего сердца, погибнут. Остаются еще самолеты. Аэродром в четырех километрах от Форта

Подковы. Неужели Ли-Дзень-Сянь не догадается овладеть самолетами?

Он побежал к телефону, чтобы звонить Ли-Дзень-Сяню. Через минуту он вернулся бледный, как полотно.

— Телефон испорчен, — сказал он. — Половина здания в огне! — Вдруг он схватился за голову.

— Наверху, в комнате над сценой, Мария-Изабелла, моя лучшая певица. Я запер ее на ключ, чтобы она не сбежала.

— Дайте ключ, — закричал я. — Я пойду и приведу ее сюда.

— Поздно, — сказал он. — Лестница, должно быть, в огне.

— Дайте ключ! — заревел я, сжимая кулаки. — Дайте ключ, говорят вам!

Он сунул руку в карман и протянул мне ключ.

Я вихрем взлетел на сцену. Здесь было так дымно, что электрические фонари казались мутными красноватыми пятнами. Рядом раздавался оглушительный треск. Это в соседнем помещении — в складе декораций — работало пламя. Я набрал в легкие воздух и побежал за кулисы, в коридор, в который выходили двери актерских уборных. Дым разъедал мне глаза. Я задышался. Но вот передо мной узкая деревянная лестница. Под ней бутафорский хлам, который уже занимается пламенем. Пламя пожирает красноносые маски, картонные мечи и бумажные шлемы. Сейчас загорится и лестница.

Я избегаю наверх. Еще поворот лестницы, еще. И я стою на площадке перед запертой дверью. Здесь жарко, как в раскаленной печи, и нечем дышать. В дверь с той стороны кто-то



Дальше — пламя!

бешено колотит кулаками, а из замочной скважины тянется тоненькая струйка дыма. Я открываю дверь, и прямо на меня валится Мария-Изабелла.

В ее комнате горят занавески, горит постель. Из деревянного шкафа идет дым. Огонь добрался и до нее, у нее вспыхнуло платье. Девушка прыгает и безумно кричит.

Я валю ее на дымящийся пол, чтобы потушить ее платье. Это мне удается, платье тухнет. Тогда я взваливаю ее на плечи и бегу вниз по лестнице. Один поворот, другой, третий. Но дальше — пламя. Лестница горит. Что делать? Я пробегу через пламя так быстро, что оно не успеет схватить нас. Осталось всего двадцать-тридцать ступенек. И я бросаюсь в огонь.

Вдруг я падаю, увлекая за собой свою ношу. Горящая лестница не выдержала нашей тяжести. Я лежу на полу, в дымном коридоре, разбитый, обожженный, задыхающийся. Но нельзя терять ни минуты. Я поднимаюсь на ноги, беру несчастную девушку, выбегаю на сцену и прыгаю в зал.

Огонь уж пробрался и сюда. С легким треском пожирает он сухое дерево кресел и стульев. Весело и дружно горят баррикады. Путь к выходу нам отрезан. Я смотрю в бледное лицо Марии-Изабеллы. Она лишилась сознания, глаза у нее закрыты.

Я сажую ее на стул и падаю у ее ног на пол. О, воздуху мне, воздуху!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Автомобильная гонка.

Но судьба не хочет моей смерти. Выход есть, я вспоминаю о нем.

Взвалив Марию-Изабеллу на плечи, я подошел к люку, ведущему в подземелье. Открыть его нетрудно. Я спускаюсь по винтовой лестнице, освещая себе путь горячей ножкой стула. Каким свежим и живительным показался мне воздух этой затхлой ямы! Здесь нет дыма, и я могу свободно вздохнуть.

Я быстро иду вперед, не обращая внимания на черепа и кости. Главное — спасти жизнь Марии-Изабеллы.

На полдороге мой факел погас. Я бросил его и пошел дальше в полной темноте. Девушка висела у меня на спине, как мешок, но я чувствовал теплоту ее тела и знал, что она жива.

Вперед, вперед, вперед, через крошечную тьму. Тьма — неважно! Лишь бы шли ноги. Лишь бы не упасть. Вот, наконец, и лестница. Выбываясь из сил, я лезу наверх. Еще ступенька, еще, еще! Открываю люк, вылезая и — падаю в объятия отца!

Он нежно целует меня. А вот и дон Гонзалес. Он старается привести в чувство свою бедную дочь. Рядом стоит добрый, толстый Джамбо, и весь колыхается от радостного смеха.

Но у нас не было времени изливать свои чувства. Гром пушечных выстрелов не смолкал ни на секунду. Полгорода было охвачено огнем. Опера

горела, как будто она была сделана из картона. Но между ее готовых обрушиться колонн попрежнему метался Шмербиус, попрежнему червели пулеметы.

— Если ветер занесет пламя в арсенал, — сказал Джамбо, — вся эта часть города погибнет. В арсенале — склад динамита.

— У тебя мой документ? — спросил отец. — Та половина, которая была у меня?

— Да.

— А где вторая половина?

— У Шмербиуса на столе, в его комнате.

— Веди меня туда!

Черные полуголые люди заполняли все комнаты и коридоры. Это были рабы из доков. Холодок пробежал у меня по спине, когда я увидел их страшные разъяренные лица. Но они дружелюбно улыбались отцу, и я понял, что мы среди них в безопасности.

Когда мы вошли в комнату Шмербиуса, я не поверил своим глазам. Стол был разбит в щепки. Железная кровать была так изогнута, будто на ней сидел слон. Постельное белье бесследно исчезло. Со стен были содраны не только чертежи, но даже обои. Бумаги, лежащие на столе, были очевидно выброшены через окно. Только несколько рваных листов в беспорядке валялось на полу.

Мы с отцом сели на корточки и стали молча подбирать их. Нет, все не то. Ноты, счета, приказы, рапорты. Вторая часть документа пропала.

— Ну их, эти алмазы! — сказал отец. Он был бледен, голос его дрожал. — Пускай лежат на дне океана. Достаточно я настрадался из-за

них. Зачем мне алмазы? У меня есть сын и друзья, которых я люблю, а любовь драгоценнее всех алмазов мира.

И он ласково погладил меня по плечу.

Дверь в комнату отворилась, и Джамбо с до-



Мы с отцом перебирали бумаги.

ном Гонзалесом внесли на руках Марию-Изабеллу. Девушка пришла в себя, но была так слаба, что не могла даже говорить. Она только смотрела на нас большими печальными глазами.

— Не нашли? — спросил дон Гонзалес.

— Не нашли, — ответил отец.

Джамбо подошел к окну.

— Смотрите, — сказал он. — Шмербиус садится в автомобиль. Куда он собирается ехать?

Автомобиль Шмербиуса я сразу узнал. Это был тот самый „Форд“, который сослужил мне такую службу на „Santa Maria“.

— Он едет на аэродром, — сказал я. — Если ему удастся овладеть самолетом — город в его руках.

— Ему не проехать, — сказал дон Гонзалес: — мост через соединительный канал взорван, и Двигающийся Утес отодвинут.

— Он может объехать озеро по окружному шоссе, — сказал Джамбо.

— Скорей, скорей! — закричал отец. — Мы должны догнать его и перегнать! Мы должны первые завладеть самолетом.

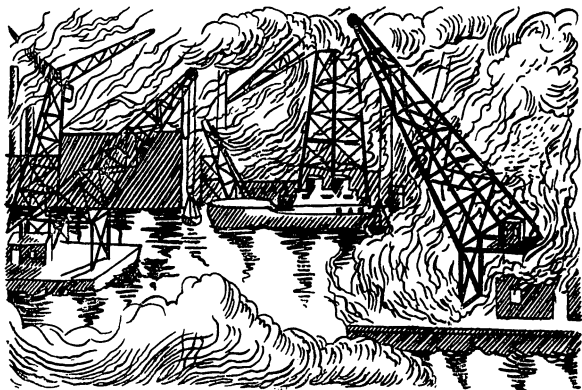
На дворе Верховного Совета стоял автомобиль. Мы выкатили его на площадь. Отец сел на место шофера, я рядом с ним. Сзади — Джамбо, дон Гонзалес и Мария-Изабелла.

Автомобиль Шмербиуса зашумел, сдвинулся с места и полетел по улице к мосту через реку Юань. Впереди сидел Шмербиус, сзади мисс Мотя. Едва они покинули площадь, как рухнула колоннада Оперы.

Мы помчались за ними. Проезжая мимо арсенала, мы увидели, как Баумер, двое китайцев и какой-то араб тоже садились в автомобиль. Видно, и они догадались, куда направляется Шмербиус.

Началась бешеная гонка. Свежий ветер дул мне прямо в лицо. Дома по обеим сторонам улицы мелькали так быстро, что рябило в глазах. Автомобиль Шмербиуса, похожий на черненького жучка, взлетел на мост и на секунду скрылся из глаз. Еще мгновение — и мы тоже перелетели через мост.

Перед нами горящие доки. Какое величавое зрелище! В этих огромных доках могли бы поместиться десятки современных океанских гигантов. И все это залито морем огвя. Рушатся стены, падают тысячепудовые подъемные краны!



Перед нами горящие доки.

Но дальше! дальше! Мы летим через холмистые поля по пыльной шоссеной дороге. С холма на холм, то вверх, то вниз. Шмербиус—вниз, мы вверх, Шмербиус вверх, мы вниз.

Шоссе постепенно заворачивает направо. С одной стороны—горы, с другой—озеро. На озере—бой. Топят друг-друга корабли джентльменов удачи. Горное эхо повторяет гулкое уханье пушек. Но в горах гремит не только эхо. Там тоже канонада: Форт Подковы перестреливается с Вращающимся Фортом, Эрлстон воюет с Ли-Дзень-

Сянем. Шоссе мало-по-малу удаляется от озера и постепенно заворачивает направо. Расстояние между автомобилями не изменяется.

— Скорее!—кричит дон Гонзалес и дотрагивается рукой до спины отца.

— Скорее нельзя,— отвечает отец.— Мы едем полным ходом.

Действительно, мне и в голову никогда не приходило, что можно мчаться так быстро. Воздух свистит у меня в ушах. Вперед! Вперед!

Теперь шоссе пролегает вдоль самой подошвы гор. Слева—черная каменная стена, справа—болотистый тропический лес. Если бы не этот лес, мы могли бы видеть озеро и раскинутый на противоположном берегу город. Но лес высок и густ, он заслоняет все. Он пахнет сыростью, прелью, тысячелетнею гнилью. В глубине прыгают и кричат попугаи. А сколько длиннохвостых мартишек! Они, как дети, целыми стаями выбегают из чащи, чтобы посмотреть на автомобили. Но мимо, мимо, вперед!

— Нам их не догнать,— говорит Джамбо.— Они первые приедут туда. Завладеют самолетом, уничтожат всех нас, а потом покорят весь город.

Но вдруг автомобиль Шмербиуса остановился. Шмербиус и его спутница выпрыгивают прочь. Что они делают там? А! это упавшее дерево загородило дорогу! Они волокут его в сторону. Какое толстое тяжелое бревно! Тащите, тащите! Вы работаете для нас! Мы все ближе и ближе.

Мы промчались мимо них в ту секунду, когда Шмербиус и мисс Мотя садились в автомобиль. Теперь мы впереди всех. За нами Шмербиус, за Шмербиусом Баумер! Вперед! Вперед!



Вперед! вперед!

Лес кончился. Мы едем вдоль быстрой горной речки. Вдали синее озеро. А на противоположном его берегу—объятый пламенем город.

— Этот остров, должно быть, коралловый,—говорю я.—Я читал, что в середине коралловых островов бывают большие глубокие лагуны.

Отец улыбается.

— Нет, Танталэна не коралловый остров, а вулканический. Это озеро залитый водой кратер.

Мы промчались по нескольким мостам, перекинутым через быстрые горные речки. У одного из них я увидел араба с камышевой удочкой в руках. Он, казалось, так внимательно следил за поплавком, что не заметил нас. Я сразу узнал его. Это был Гассан-бен-Дигам, член Верховного Совета и начальник арсенала.

Автомобиль Шмербиуса не отставал от нас. Мы мчались все время с одинаковой скоростью. Но Баумер мало-по-малу приближался. Все же мы впереди! Все же мы приедем первые! Вперед! Вперед!

Шоссе повернуло налево и стало подниматься в гору.

— Аэродром там наверху,—сказал отец.

Все выше, выше, выше и вот, наконец, мы на широкой поляне. Вдали показались какие-то домики. Да это целое селение! Мы неслись прямо к нему.

Баумер попробовал объехать нас, но это ему не удалось. Он только потерял несколько секунд и отстал. Домики все увеличивались. Это не домики, а длинные кирпичные сараи.

— Вот гаражи, в которых находятся самолеты,—сказал отец.

Один из гаражей открыт. Перед ним огромная машина. Крылья черные, и на каждом крыле и все тот же знак—череп и скрещенные кости.

Мы первые подъехали к самолету. Джембо, с Марией-Изабеллой на руках, вбежал в пассажирское отделение машины. За ним последовали мы с отцом и дон Гонзалес.

В это мгновение подкатил автомобиль Шмербиуса, и мисс Мотя подбежала к самолету.

— Donnerwetter!—заревел опоздавший Баумер и поднял ружье.

Самолет сорвался с места и, как ураган, помчался по равнине. Потом стал плавно подниматься. Вот уже виден пылающий город. Пламя отражается в озере, и от этого вода возле набережной кажется кровавой. Вот под нами широким полукругом расходятся кирпичные гаражи. Вот три автомобиля, у которых стоит Баумер, потрясая винтовкой, два китайца, араб и мисс Мотя.

— Но где же Шмербиус?—спрашиваю я.

Действительно, где же Шмербиус? Его нет между ними. Вдруг я вскрикиваю.

— Смотрите!—говорю я.—Шмербиус висит на кольце, за самолетом!

К задней части самолета было привинчено кольцо. За него одной рукой держался Шмербиус. Он висел над пропастью. Фалды его сюртука развевались, как крылья. Он был похож на большую нелепую черную птицу.

— Нам придется снять эту гадину,—хмуро сказал дон Гонзалес.

Мы с трудом втащили его в кабину. Он подошел к окну и стал смотреть, как пламя уничтожает

его любимый город, город, который он хотел сделать столицей мира!

Мы поднимались все выше. Теперь нам был виден весь остров—горы, синее озеро, леса и поляны. Город казался пылающим сердцем острова.

И вдруг случилось нечто невозможное. До нас донесся ужасающий грохот. Остров заколебался, закачался и сразу, как бы по мановению жезла, исчез, провалился, пропал.

На его месте заклокотала белая, буйная, веселая пена. Вихрь подхватил наш воздушный корабль и так накренил его, что мы попадали на пол.

Когда я встал на ноги и снова посмотрел вниз, под вами расстилалась ровная, спокойная равнина океана.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

От океана к океану.

— Это был взрыв арсенала, — сказал Шмербиус.

— Это было землетрясение, — сказал отец.

— Взрыв арсенала вызвал землетрясение, — мрачно настаивал Шмербиус. — Разве вы знаете, какие взрывчатые вещества были у меня в арсенале? Ими можно было разрушить весь мир.

Я взглянул на него. Он был бел, как стена. Его синие губы тряслись. Он говорил сам с собой и нас, казалось, не замечал.

— Да, остров Танталэна погиб. Мой остров! Я собственным разумом, собственной волей создал все, что на нем было. Тридцать лет тому назад я



Остров заколебался.

нашел на этой скале две сотни китайских головорезов, да банду бежавших из Австралии каторжников. Они грабили мелкие суденышки искателей жемчуга, пили и дрались между собой. Это было никчемное, жалкое, нищенское дело. Если бы не я, они давно подошли бы — все до единого. Я организовал их; я дал им закон; я указал им ценную добычу; я научил их строить корабли; я сделал их остров неприступнейшей крепостью в мире; я опутал весь земной шар небывалою сетью шпионов, благодаря которым нам стали известны замыслы всех королей и республик; я вел их к победе над всем миром. Я хотел превратить этот жалкий и пьяный сброд во властителей вселенной а они продали вселенную за бутылку виски. Все мои труды, все бессонные ночи пропали даром.

Он угрюмо посмотрел на нас и затем заговорил еще печальнее.

— Я дал им самое драгоценное, что есть у человечества — музыку. Свою музыку, кровь и плоть свою. Эти злодеи, никогда не знавшие жалости, с улыбкой истреблявшие стариков и детей, плакали, слушая ее. Но музыка была так же не нужна им, как власть над вселенной. Они предали Шмербиуса и этим погубили себя. А на что я гожусь без моих джентельменов удачи, без моего театра, без моей Танталэны? Да, это верно, теперь я сделался просто плешивым шутом.

Слезы текли у него по щекам, нос покраснел. Он замолчал и отвернулся от нас.

Отец, сосредоточенно возившийся в переднем отделении с какими-то колесами и рычагами, позвал к себе дона Гонзалеса.

— Ничего не понимаю я в этом самолете, — сказал он.

— Сколько верст мы делаем в час? — спросил равнодушно Шмербиус.

Отец посмотрел на какой-то прибор.

— Триста пятнадцать, — сказал он.

Шмербиус вышел в переднее отделение и через минуту вернулся.

— Радио-двигатель цел, — заявил он. — Но руль испорчен. Взрыв арсенала погубил и нас. Мы несемся на запад со скоростью урагана.

Но ни изменить направление, ни опуститься мы не можем.

Нам, пожалуй, не выбраться живыми из этой воздушной тюрьмы. Но, как это не странно, мы совсем не были потрясены таким положением дел. Человек может привыкнуть даже к смерти.

Внизу давно наступила ночь. Мария-Изабелла спала на полу, прикрытая брезентом. Но здесь, наверху, все еще сияло солнце. Огромное, красное, оно медленно ползло к горизонту. Наконец, и мы перестали видеть его. Сразу стемнело. Мы в беспорядке разлеглись на полу.

Ночью я несколько раз просыпался от холода. Мы укрылись какими то мешками, тесно жалпсь друг к другу. Шмербиус спал плохо. Он все время охал, вздыхал и сопел носом.

Утро не принесло нам ничего нового. Встало огромное, желтое, почти не греющее солнце и осветило под нами огромное водное пространство. Мы стремительно мчались по небу. Что будет с нами? Сердце мое замирало при одной мысли о падении с такой чудовищной высоты.

Мария-Изабелла проснулась и попросила пить.

— У нас нет воды, — в ужасе восклицал Джамбо, — ни капли воды!

Дон-Гонзалес печально опустил голову.

— Потерпи, моя девочка, — говорил он! — Вот мы прилетим домой, и там ты наешься вдоволь.

В карманах у Джамбо нашлось несколько твердых, как камень, морских сухарей. Мы разделили их по-братски. Но воды не было. А пить хотелось и нам. Часы проходили за часами, наше положение не менялось.

К вечеру жажда начала сильно беспокоить нас. Настала ночь, вторая ночь, проведенная на этом самолете. Было довольно тепло, и мы хорошо спали. Но утром, проснувшись, я почувствовал, что у меня совершенно пересохло горло. Во рту почти не было слюны.

— Пить, пить! — жалобно стонала Мария-Изабелла. Она очень страдала. Больно было смотреть на ее бледное осунувшееся личико. Ее большие голубые глаза стали еще больше, еще ярче и печально смотрели на нас.

— Под нами земля! — вдруг вскричал Джамбо.

Мы все вскочили на ноги. Действительно, под нами простиралась суша. Я видел темно-зеленые леса, темно-синие реки и желтые выжженные саванны.

— Это Африка, — сказал Шмербиус. — Да, да, это Африка.

Он порылся в кожаном мешке, висевшем на стене нашей каюты, и вынул большой полевой бинокль.

— Посмотрите, — сказал он, указывая на какие-то движущиеся точки, — это слоны.

Я взял у него бинокль. Слоны, слоны! Сколько их! Они протягивают хоботы и рвут листья с низко-

рослых пальм. Как они медлительны и степенны. И как малы — будто нарисованы на круглых стеклянках бинокля.

А вот антилопы. Они быстро скажут на запад, к огромному синему озеру. Чорт возьми, они пьют! Как бы я хотел быть на их месте.

— Это Танганайка, — говорит Шмербиус. — Я знаю очертания ее берегов.

Снова водная поверхность простирается под нами. Только цвет воды немного светлее, чем в океане.

— Пресная вода, — говорит Джамбо и вздыхает.

Вот обрисовывается западный берег озера.

— А ведь это родина твоих предков, Джамбо, — говорит дон Гонзалес.

Джамбо на минуту забывает свою жажду и улыбается, шевеля своим большим, мягким животом.

— Какое мне дело до родины моих предков, — говорит он. — Моя родина — Америка. Я цивилизованный американец, а не африканский дикарь.

Дон Гонзалес утверждает, что отец Джамбо был людоед. Джамбо горячо протестует.

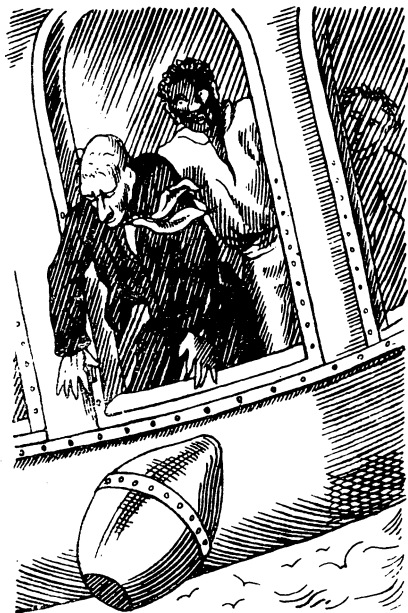
— Мой отец был раб на Ямайке, — с гордостью говорит он.

Под нами снова леса и саванны. Вот большая деревня, состоящая из круглых бамбуковых хижин. Кругом — возделанные поля. В бинокль я вижу толстых негритянок с младенцами на спинах и негров, дремлющих у входов в хижины. Там, должно быть, чертовски жарко, не то, что здесь в вышине.

Дальше идут сплошные тысячеверстные тропические леса, прорезанные реками. Одна из этих рек была особенно широка и многоводна.

— Ее называют Луалаба, — сказал Шмербиус. — В сущности, это верхнее течение Конго.

По берегам реки кутятся деревушки, но дальше снова безграничный лес.



Шмербиус выбросил сосуд через окно.

— А это что за штука? — воскликнул внезапно Джамбо, наткнувшись в углу каюты на какой-то герметически закупоренный металлический сосуд.

Все с удивлением рассматривали находку. Один Шмербиус продолжал глядеть вниз. Мне показа-

лось, что он как-то криво усмехнулся. Джамбо с трудом поднял сосуд на руки.

— Ого! — заговорил он, — да там что-то плещется! Должно быть, вода.

— Пить! Дайте пить... — простонала Мария-Изабелла.

Дон Гонзалес ужасно засуетился. Он сунул руку в кожаный мешок с инструментами и вынул большой напильник.

— На, пили. — сказал он, протягивая напильник Джамбо. Джамбо принялся надпиливать верхнюю часть сосуда.

Вдруг Шмербиус круто повернулся, вырвал сосуд из рук ошеломленного негра и выбросил его через окно

— Негодяй! — заорал Джамбо и чуть не набросился на Шмербиуса с кулаками.

Но Шмербиус спокойным жестом показал вниз на землю. Чорт возьми, что там случилось? Темнозеленая окраска леса стала понемногу светлеть. Деревья блекли и увядали на наших глазах. В бинокль я видел, как никли огромные пальмовые листья. Баобабы стояли черные и голые, в несколько минут потеряв свою пышную листву. По рекам, животами вверх, плыли бесчисленные туши крокодилов и бегемотов. Слоны, один за другим, тяжело падали на землю, чтобы уже никогда не встать. Обезьяны, как мертвые мухи, чернели на желтой траве.

— Это был баллон с ядовитым газом! — воскликнул я.

— Да, это был баллон с ядовитым газом, — спокойно подтвердил Шмербиус.



Под нами все умерло.

Но мы скоро миновали разрушенные области и под нами снова замелькали зеленые леса и желтые саванны.

Наш самолет вот уже вторые сутки словно перышко неся все вперед и вперед. Скорость полета все увеличивалась, и уменьшить ее мы не могли.

К трем часам пополудни она достигала трехсот девяносто шести верст в час, а в четыре мы увидели перед собой берег Атлантического океана. Перелет через всю Африку был совершен меньше чем в девять часов!

— Смотрите, под нами снежные горы, — закричал Джамбо.

— Это не горы, — сказал отец, — это облака. Мы летим над ними. Внизу идет дождь.

Дождь... Чудная, пресная вода...

Во рту у меня было сухо. Язык распух и заполнял собой весь рот. О, хоть бы глоточек воды!

Больше всех страдала Мария-Изабелла. Она уже перестала стонать и молча смотрела в потолок своими большими синими глазами. Дон Гонзалес, отец и я переносили свои муки молча. Джамбо тоже мучился, но его природная негритянская экспансивность не позволяла ему сосредоточиться на своих страданиях. Его, словно ребенка, все интересовало, все развлекало. Шмербиус, казалось, даже не замечал отсутствия воды. Он оплакивал гибель Танталэны. Былая непоседливость покинула его. Он сидел в углу каюты, сгорбленный, состаревшийся, безобразный, с полужакрытыми глазами и думал о чем-то своем.

Облака рассеялись, или вернее, мы оставили их позади. Под ними снова простирался необо-

зримый океан. К шести часам быстрота нашего полета достигла четырехсот шестидесяти верст в час. Отец с сомнением посмотрел на толстые стекла окон. Если они не выдержат напора воздуха и лопнут, мы задохнемся. При такой скорости дышать невозможно. Солнце стояло еще высоко. Мы стремительно неслись на запад, в направлении, противоположном вращению земли. И поэтому наши ночи и дни были длиннее, чем ночи и дни обитателей земной поверхности. Солнечное время отставало от наших часов.

В семь быстрота нашего полета стала быстро уменьшаться. Радио-мотор как-то подозрительно заскрипел. А в половине восьмого мы заметили, что наш самолет мало-по-малу снижается. При этом казалось, будто океан снизу поднимается к нам.

Спуск был медленный и плавный. Самолет приспособлен для плавания, и если мы спустимся не слишком стремительно, никакая опасность не грозит нам.

Но вдруг мотор замолк, самолет нерешительно закачался и затем, как камень, полетел вниз.

Шмербиус с быстротой вихря подскочил к рычагам, ввинченным в стену переднего отделения. Энергия снова вернулась к нему. Снова развевался красный галстук, металась из стороны в сторону фалды фрака. Он перебежал от одного рычага к другому.

Крылья самолета стали раздвигаться, увеличиваться и шевелиться. Быстрота падения замедлилась. Мы спускались толчками, прыгая из стороны в сторону. Поверхность океана неумолимо приближалась к нам. Вот уже видны пе-

нистые гребни волн. Вода теперь кажется не синей, а зеленовато-черной. Она поднималась к нам, как перекипевшее молоко поднимается из кастрюли.

Оглушительный удар сбил нас с ног. В окнах зазеленела вода. Потом наступила тьма: минуты две мы продолжали опускаться в глубь океана. Затем стали медленно подниматься и вынырнули на поверхность. Волны качали нас.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Воды! Воды!

Настала мучительная ночь. Мы не спали. Губы, небо, гортань горели у меня, как в огне. Кругом было столько воды — целый океан — а мы не могли утолить своей жажды. Эта вода обжигала и разъедала рот.

О, если бы пошел дождь! Но над нами вздымалось высокое чугунное небо, усыпанное крупными звездами, и на нем — ни одной тучки. Печально встретили мы пыльную утреннюю зарю. Наступающий день не сулил нам ничего доброго. Мы понуро бродили по самолету, безнадежно вглядываясь в морскую даль.

Хуже всех было Марии-Изабелле. Девушка таяла на наших глазах. Она уже не могла говорить и, казалось, не понимала, что происходит вокруг. Дон-Гонзалес, тоже похудевший, тоже страдающий от невыносимой жажды, сидел рядом с ней и плакал. Добрый Джамбо не совсем уверенным голосом убеждал его, что она не умрет,

мы непременно встретим какое-нибудь судно, которое подберет нас.

Я чувствовал себя совсем плохо и целыми часами лизал большой молоток. Прикосновение холодной стали к языку облегчало мои муки.

Шмербиус, мрачно насупившись, сидел в углу каюты. Энергия, благодаря которой ему вчера удалось благополучно опустить самолет на воду, снова покинула его. Но от жажды он почти не страдал.

Единственный человек, не потерявший самообладания и способный заботиться о нашем спасении, был мой отец. Он смастерил из брезента большой неуклюжий парус и с помощью двух длинных шестов укрепил его на крыше самолета. Свежий морской ветер довольно быстро понес нас.

— Если мы сами не доберемся до берега, нас подберет какой-нибудь пароход, — говорил отец. — В Атлантическом океане на этих широтах проходит немало судов.

Но приближалась ночь, а море было попрежнему пустынно. Я заснул задолго до захода солнца.

Проснувшись на следующее утро, я почувствовал, что уже не встану. Никогда еще мне не было так скверно. Дольше переносить такие муки было невозможно. „Скорее бы!“ думал я. Мой взор упал на нож, валявшийся в углу каюты. Я перережу себе вены. И сразу кончатся все мученья. Я буду пить свою кровь, пока не умру.

Но было слишком трудно протянуть руку и взять нож. Я, как загипнотизированный, смотрел на него, но с минуты на минуту откладывал сладкое избавление.

Вдруг я услышал рядом с собой тихий плач. Я повернул голову. Это плакал дон Гонзалес, сидевший рядом с Марией-Изабеллой. Девушка неподвижно лежала на полу, широко раскрыв свои чудные глаза. Меня поразили тусклый, ровный блеск этих глаз. В них не было ни страдания, ни радости, ни даже равнодушия. Они напоминали кусочки хрусталя, на которых искусный художник нарисовал голубой кружочек и черную точку посередине. У живых людей таких глаз не бывает.

— Не плачьте, дон Гонзалес, — раздался вдруг голос Джамбо. — Подождите. Скоро нас принесет к берегам Южной Америки. Там донья поправится. Она снова станет маленькой хозяйшкой вашего ранчо, снова будет доить своих любимых коров. А то, может быть, нас подберет какое-нибудь судно...

— Нет, милый Джамбо, нет, добрый, глупый негр, она больше никогда не увидит нашего ранчо. Мы с тобой остались одни. Она умерла... Ты понимаешь, она умерла...

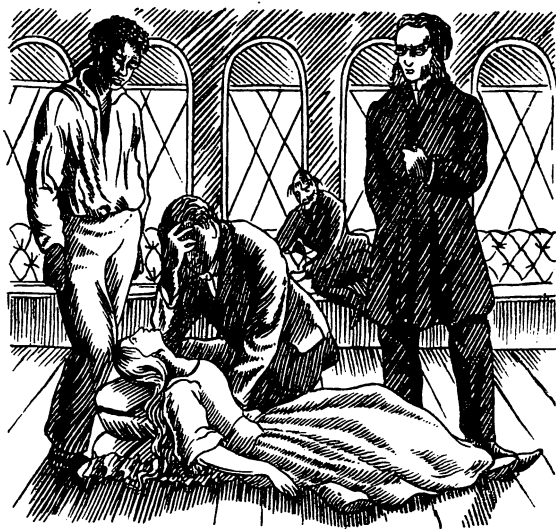
Джамбо вскочил на ноги и подошел к несчастной девушке. Слезы текли по его исхудавшим щекам.

Мой отец тоже подошел к умершей. Даже Шмербиус, и тот очнулся от своих мыслей и с жалостью смотрел на нее.

— Она умерла и... и... и я хочу пить, — всхлипывая, бормотал дон Гонзалес. — Я больше не могу терпеть...

Отец ласково взял его за плечи и положил на пол в углу каюты. Дон Гонзалес покорно лег, продолжая всхлипывать, стонать и причитать.

Джамбо взял кусок брезента, достал из кармана иголку с ниткой и стал шить. Через полчаса был готов большой мешок. Затем он подошел к Марии-Изабелле и нежно поцеловал ее своим



„Она умерла... ты понимаешь, она умерла“...

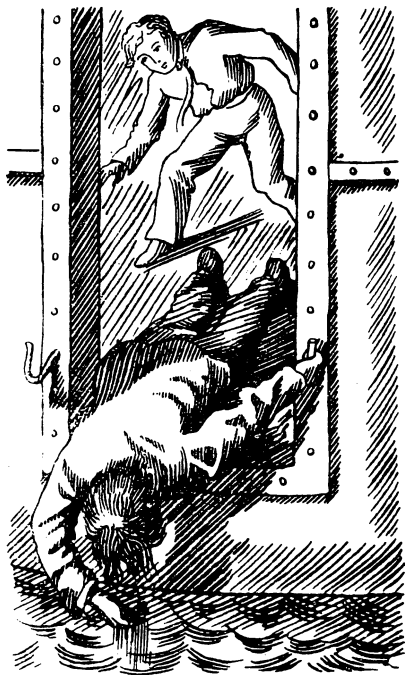
толстыми губами в бледный прекрасный лоб. Потом поднял ее и положил в мешок.

Отвинтив стамеской от стены несколько массивных медных рычагов, служивших, очевидно, для управления самолетом, он сунул их туда же, к девушке. Затем зашил мешок, поднял его и кинул в море.

Я громко зарыдал. Отец тоже плакал. Черное лицо Джамбо сверкало от слез.

Шмербиус, до тех пор молча лежавший в углу, вскочил на ноги.

— Умер великий талант! — вскричал он. — Но



„Пресная вода“, — прошептал он.

заметив, что его восклицание не совсем уместно, осекся, замолчал и смущенно сел.

Дон Гонзалес вскочил на ноги. Он, казалось, не совсем понимал, что произошло. Горе и жажда затемнили его рассудок.

— Дочь моя, воды, воды! — закричал он, отворил дверцу каюты, нагнулся и стал пить морскую воду.

Он пил долго и жадно. Мы с удивлением следили за ним. Наконец, он поднял голову и мутными глазами посмотрел на нас.

— Пресная вода, — прошептал он.

Я подполз к нему, опустил голову и принялся пить. В океане была пресная вода!

Э П И Л О Г.

Нас занесло в устье Амазонки.

Это огромная река несет в океан столько воды, что он становится пресным на двадцать миль кругом. Это спасло нас от ужасной смерти.

В тот же день нас подобрал торговый американский пароход, отправлявшийся порожняком вверх по реке за грузом гуттаперчи. Он высадил нас в Макапе — грязном городишке, расположенному впадения Амазонки в море.

Дон Гонзалес немедленно отправил домой телеграмму с просьбой выслать денег на дорогу. Деньги пришли только через две недели, а до тех пор мы жили в дрянной португальской гостинице, проклинали немилосердное бразильское солнце, вдыхали ароматы конопляного масла и собственными боками кормили бесчисленную армию клопов.

Шмербиус первый покинул нас. Он очень вежливо и мило простился со всеми.

— Что ты теперь будешь делать, Аполлон? — спросил его отец.

Он безнадежно махнул рукой.

— Я конченный человек, — сказал он, и голос его задрожал. — Все, что я любил, все, на что надеялся, погибло.

Со мной он простился особенно нежно.



Со мной он простился особенно нежно.

— Твоего сына я полюбил, — сказал он отцу. — Он отважный, благородный, решительный мальчик.

Отец ласково потрепал меня по плечу. Глаза дна Гонзалеса наполнились слезами. Он вспомнил о своей погибшей дочери.

Шмербиус ушел. Я больше никогда не увижу его. И мне жаль этого загадочного человека. В злых людях бывает так много доброго, в смешных — так много великого, что порой не решаешься ни ненавидеть их, ни насмехаться над ними.

Наконец, дон Гонзалес получил деньги. Половину их он уделил нам и на другой день вместе с Джамбо уехал на пароходе в Рио-де-Жанейро, рассчитывая отправиться оттуда по железной дороге к себе в Боливию. Мы с отцом осиротели без этих людей. Общие страдания сроднили нас.

Но скоро пришел и наш черед уезжать. Добравшись до Нью-Йорка, мы на большом немецком пароходе уехали в Гамбург, а спустя неделю вернулись домой, в Ленинград. И вернулись друзьями. Отец не слишком любил выражать свои чувства, но я нередко замечал на себе его долгий, нежный взгляд.

Теперь у него нет от меня никаких тайн, он больше никогда не говорит мне:

— А, впрочем, ты ничего не понимаешь!

ЧУКОВСКИЙ, Николай.

Танталена. Повесть для юношества.

Рис. Юрия Черкесова.

Л. М. "Радуга" 1925 стр. 176 Ц. - 1р. 40к.

Отец и сын попадают на остров пиратов. Вся повесть насыщена фантастическими приключениями, фигура отца облечена в какую-то тайну. Воображение автора какое-то густое, бездельное. Книга не вызывает никаких здоровых эмоций.

Отвергается как совершенно бесполезная, а потому вредная.

Биб. ком. ЦДБ 10/XII 1925г.

2192

14670